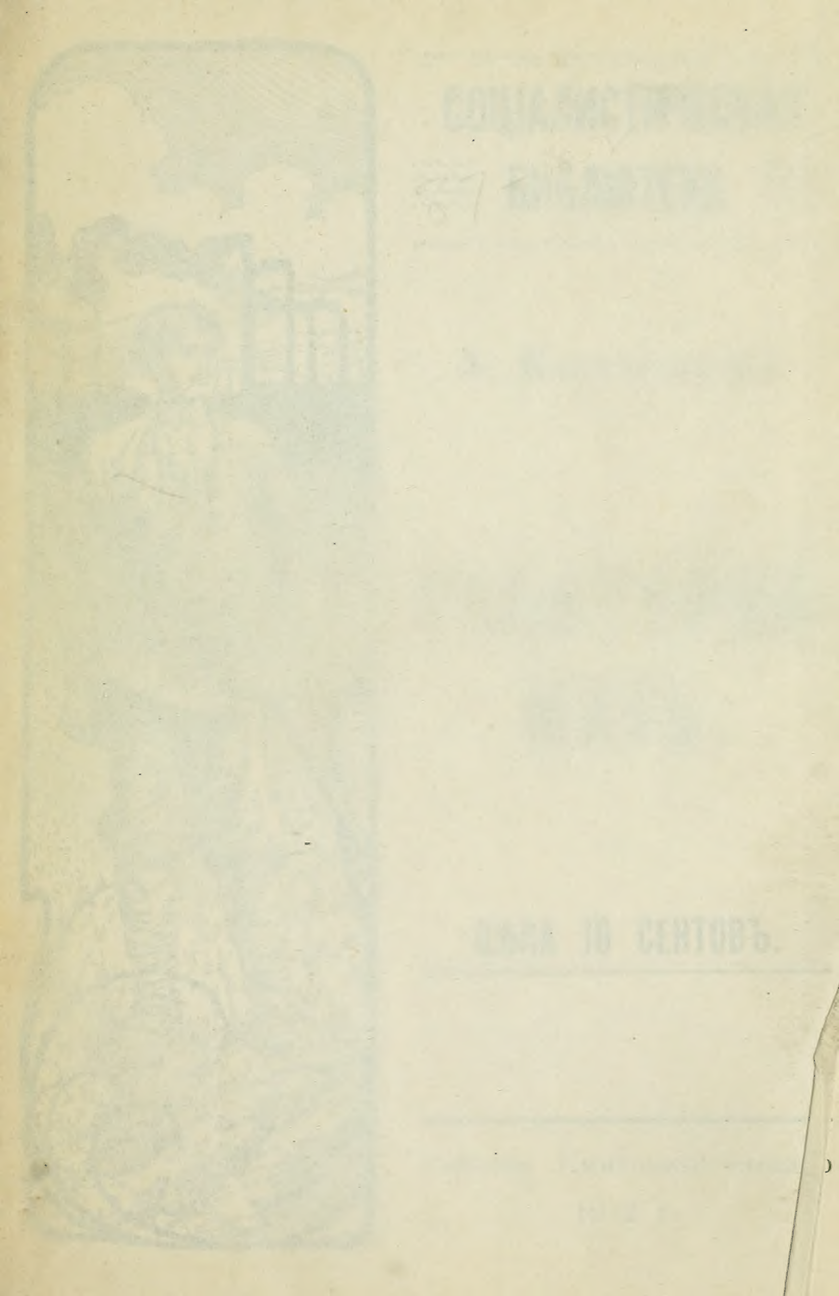

3 1761 06253868 1





СОЦІАЛИСТИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА

А. Коллонтай.

РАБОТНИЦА-МАТЬ.

ЦѢНА 10 СЕНТОВЪ.

Рабочее Книгоиздательство
1912 г.

РАБОТНИЦА-МАТЬ.

Машенька — жена директора фабрики.

Машенька беременна. Въ домѣ самаго господина директора фабрики празднично-озабоченное настроеніе. Еще-бы: Машенька собирается подарить супругу наслѣдника. Будетъ кому передать богатства, созданыя руками работницъ и рабочихъ...

Докторъ велѣлъ очень беречь Машеньку. Пусть Машенька не утомляется, не поднимаетъ ни чего тяжелаго. Пусть кушаетъ то, что ей по вкусу. Фрукты? Давайте ей фрукты. Свѣжую икру? Подавай икру.

— Главное чтобы не было у Машеньки заботъ, огорченій. Тогда ребенокъ родится крѣпкій, здоровый, тогда и роды пройдутъ легче, и Машенька свое здоровье сбережетъ.

Такъ говорятъ въ семьѣ г-на директора фабрики. Такъ принято поступать съ беременной въ семьяхъ, гдѣ кошельки набиты кредитками и золотомъ.

И Машеньку барыню берегутъ.

„Машенька, не утомляйся". — „Машенька не двигай кресла", говорятъ вокругъ Машеньки-барыни.

„Беременная женщина, мать—для насъ

священна", увѣряютъ ханжи и фарисеи буржуазнаго лагеря. Такъ-ли это въ самомъ дѣлѣ?

II.

Машенька-прачка.

Въ томъ- же домѣ, гдѣ живетъ г-жа директорша фабрики, на третьемъ дворѣ, въ углу за ситцевой занавѣской, ютится другая Маша— прачка, поденщица. Маша прачка тяжела на 8 мѣсяцѣ. Но какіе-бы Маша-прачка сдѣлала большіе глаза, какъ-бы удивилась, если-бы ей сказали: „Машенька, ты не должна таскать тяжестей, ты должна беречь себя, ради себя, ради ребенка, ради человѣчества. Ты беременна, а, значитъ, въ глазахъ общества ты — священна".

Маша сочла-бы говорившаго за помѣшаннаго или за злого шутника. Женщина рабочаго класса „священна", когда она беременна? Гдѣ это видно. Не убѣждается-ли Машенька прачка, а съ нею сотни тысячъ другихъ женщинъ неимущаго класса, принужденныхъ продавать свои рабочія руки фабрикантамъ, заводчикамъ, хозяевамъ, что тутъ-то съ нихъ и тянутъ двѣ шкуры хозяева, когда видятъ, что нужда подступила, что выхода нѣтъ, что черезъ силу, а идешь на зароботокъ...

„Беременной — главное, спокойный сонъ, хорошая пища, чистый воздухъ, умѣренный моціонъ“ (движеніе), учать доктора. И опять Маша-прачка, а съ нею вмѣстѣ сотни тысячъ наемныхъ работницъ, рабынь капитала, засмѣялись бы въ лицо говорящему. Умѣренный моціонъ? Чистый воздухъ? Здоровая, обильная пища? Спокойный сонъ? Кто изъ женщинъ рабочаго класса знаетъ эти блага, доступныя только Машенькамъ-барынямъ, только женамъ господъ фабрикантовъ?

Рано по утру, когда еще ночная тьма борется съ зарею, и когда Машенька-барыня еще видитъ сладкіе сны, Машенька-прачка встаетъ со своей узкой постели и идетъ въ сырую, темную прачешную, гдѣ ноги расползаются по мокрому полу, гдѣ не засохли еще вчерашнія лужи, гдѣ въ лицо ударяетъ затхло-гнилостный запахъ грязнаго бѣлья...

Не по доброй волѣ плетется Маша-прачка въ опостылую прачешную: за ней стоитъ неумолимый погоняла — нужда. Мужъ Маши—рабочій. Получки — малы, вдвоемъ не прокормишься. И, молча, стиснувъ зубы, простаиваетъ Маша за корытомъ до послѣдняго дня, до родовъ...

Не думайте, что у Маши-прачки „здо-

ровье желѣзное“, какъ любятъ выражаться барыни про женщину-работницу. Отъ долгаго стоянія за корытомъ, у Маши-прачки ноги покрыты вздутыми жилами, походка ея стала медлительна и тяжела... Подъ глазами у Маши образовались мѣшки, руки пухли, а ночью — давно уже настоящаго сна нѣтъ у Маши-прачки...

Какъ часто, таская тяжелыя корзины съ мокрымъ бѣльемъ, Маша-прачка прислоняется къ стѣнѣ, чтобы не упасть: кружится голова, темнѣетъ въ глазахъ... А сколько разъ кажется ей, что въ спинѣ ноетъ громадный, больной зубъ, и ногъ не передвинешь, будто свинцомъ налились...

Прилечь-бы на часокъ, отдышаться... Да развѣ это „полагается“ наемной работницѣ? Ишь „нѣжности“ какія!.. Не барыня!

И молча терпитъ свою каторжную жизнь беременная Маша-прачка.

„Священна лишь та беременная женщина, за чьей спиной не стоитъ неутолимый погоняла — нужда.

III.

Маша-подгорничная.

Барыня-Машенька взяла въ домъ „подгорничную“, изъ деревни „дѣвушку“ господа себѣ привезли. Машенькѣ-барынѣ подгорнич-

ная понравилась за звонкій смѣхъ, за то что, что коса у ней ниже колѣнъ, за то, что какъ птичка-легкокрылая она по дому носится, каждому угодить старается. Золото дѣвочка! 3 рубля въ мѣсяцъ жалованья ей положили, а работу несетъ за троихъ.

Не нахвалится барыня.

Самъ „баринъ", господинъ директоръ фабрики, на нее заглядываться сталъ. Все чаще, все внимательнѣ. Не чуетъ бѣды дѣвочка— неопытна, деревенская... Все ласковѣе, да ласковѣе баринъ становится... Докторъ „барыню" тревожить не велѣлъ: покой прописалъ. Пусть спокойна младенца доноситъ — вреда-бы ему не было. А подгорничная все на глаза барину попадается. И тоже Машей зовутъ... Спутать легко!.... Дѣвочка глупая, незнающая. Запугать не трудно! Со страху на все пойдетъ.

И забеременѣла Маша-подгорничная. Смѣяться перестала. Осунулась. Злая забота сердце и денно и нощно сосетъ.

Узнала барыня-Машенька Скандалъ подняла. Машу-подгорничную въ 24 часа за ворота выставили.

Ходитъ Маша по городу, — ни друзей ни угла.... Кто „такую" ее теперь въ „честномъ" домѣ держать будетъ?

Ходитъ Маша безъ мѣста, безъ хлѣба,

безъ помощи.

Мимо рѣки прохаживается. Взглянетъ на темныя волны — отвернется, зажмурится. Жутко... Тянетъ и страшитъ холодная, темная рѣчная глубина.

IV.

Маша-красильщица.

Въ красильномъ отдѣленіи фабрики — суматоха: замертво вынесли работницу. Что съ ней? Отравилась парами? Чада не вынесла? Не новичекъ! Пора-бы къ фабричному аду привыкнуть!...

„Все пустяки“ сказалъ докторъ, „не видите что-ли? Беременна! А у беременной всякія причуды бываютъ. Нечего имъ потакать“.

И вернули красильщицу на работу. Идетъ по мастерскимъ къ своему мѣсту, какъ пьяная шатается. Не слушаются отекшія ноги... Шутки-ли? Десять часовъ изо дня въ день на работѣ. Въ ядовитыхъ парахъ, среди чада и вредныхъ запаховъ. Домой вернешься, есть-ли отдыхъ работницѣ-матери, когда ребятишки въ семьѣ, слѣпая мать-старуха безъ обѣда сидитъ, когда усталый мужъ съ завода голодный домой приплетется? Всѣхъ накорми, обо всѣхъ позаботься... Первая она съ зарей на ногахъ, послѣдняя до сна добирается.

А тутъ еще сверхъ-урочныя работы назначили. Дѣла бойко на фабрикѣ пошли. Фабрикантъ прибыль горстями загребаетъ. А засверхъ-урочные часы по копѣйкѣ прибавитъ. Не согласенъ — ступай за ворота. Безработныхъ, слава тебѣ Господи, довольно на свѣтѣ. Попробовала красильщица сама у г-на директора отпуска себѣ выпросить.

„Родитъ скоро должна. Подготовиться-бы надо. Дѣти малыя, хозяйство, мать-старуха на рукахъ".

Куда тамъ и слушать не сталъ.

„Если каждый беременный „отпускъ" давать, такъ проще фабрику закрыть. Не спали-бы съ мужьями, не беременѣли-бы.."

Оскорбилъ, надругался надъ ней при народѣ.

Приходится Машѣ-красильщицѣ до послѣдняго часа на работѣ маятся.

Такъ почитаетъ сейчасъ материнство буржуазное общество.

V.

Роды.

У Машеньки-барыни роды — событіе. Праздникъ не праздникъ, а домъ ходуномъ ходитъ. Доктора, акушерки, сидѣлки...

Лежитъ родильница въ чистой, мягкой

постели. Цвѣты на столѣ. Мужъ къ ручкѣ прикладывается, почтальоны письма, телеграммы несутъ. Священникъ молебенъ благодарственный служитъ.

Ребенокъ родился здоровый крѣпышъ. Еще-бы! Какъ берегли, какъ холили Машеньку-барыню!

А Машенька-прачка тоже рожаетъ. Въ углу, за ситцевой занавѣской, въ комнатѣ, набитой чужими людьми.

Тяжело Машенькѣ. Стоны старается подушкой заглушить. Сосѣди — народъ все рабочій, не хорошо сна ихъ лишать, послѣдній отдыхъ отнимать. Къ утру повитуха пришла. Умыла, прибрала младенца и къ другой роженицѣ поспѣшила. Лежитъ Машенька теперь одна въ комнатѣ. Глядитъ на ребеночка. Заморышъ какой! Худенькій, сморщенный... А глаза, будто мать укоряютъ, печально такъ спрашиваютъ: „зачѣмъ ты меня родила?“.

Глядитъ на него Машенька и плачетъ сама тихонько, неслышно....

Родила и подгорничная Маша, подъ заборомъ, въ глухой улицѣ городскаго предмѣстья. Въ родильный просилась — полно оказалось. Въ другой стучалась — не взяли, бумагъ какихъ то потребовали.

Родила и пошла. Идетъ — шатается. Младенца въ платокъ завернула. Куда? — Некуда.

Рѣчка темная вспомнилась, глубина рѣчная, манящая, жуткая.

На утро городовые утопленницу вытащили.

Такъ почитаетъ „мать" буржуазное общество.

У красильщицы Маши младенецъ мертвый на свѣтъ появился. Не доносила. Черезъ дыханье родной матери парами еще въ утробѣ отравился.

Роды тяжелые были. Сама Маша-красильщица чуть на тотъ свѣтъ не отправилась.

А къ вечеру другого дня — ужъ на ногахъ: прибираетъ, полощетъ, стряпаетъ. Какъ же быть иначе? Кто же за Машу-красильщицу домъ приберетъ, хозяйство наладитъ? Дѣтишекъ накормитъ? Хорошо Машенькѣ-барынѣ 9 дней въ постели вылеживаться, какъ докторъ велѣлъ, когда вокругъ нея цѣлый штатъ прислуги танцуетъ!...

Что съ того, что Маша-красильщица ранней работой послѣ родовъ болѣзнь тяжелую женскую нажила, себя искалѣчила?

Кто побережетъ работницу-родильницу? Кто сниметъ съ ея плечъ усталыхъ непосильныя заботы?

„Святое материнство“ существуетъ только для Машенекъ-барынь.

VI.

Крестъ материнства.

Для Машеньки-барыни — материнство радость и праздникъ.

Въ свѣтлой, опрятной дѣтской растетъ наслѣдникъ господина фабриканта, подъ присмотромъ нянь обученныхъ, подъ надзоромъ врача.

Если у самой Машеньки-барыни молока въ грудяхъ не хватаетъ, или „фигуру“ она испортить не захочетъ — кормилицу найдутъ.

Позабавится съ младенцемъ Машенька-барыня, да и поѣдетъ въ гости, по магазинамъ, по театрамъ, баламъ... Есть кому присмотрѣть за младенцемъ....

Для Машеньки-барыни — материнство праздникъ, забава.

Для Машенекъ-работницъ, красильщицъ ткачихъ, прачекъ, резинщицъ, для сотень-тысячъ матерей рабочаго класса — материнство крестъ.

Гудитъ фабричный гудокъ, зоветъ на работу. А младенецъ кричитъ, заливается. Какъ бросить его. Кому поручить?

Нацѣдитъ молока въ соску мать - ра-

ботница поручитъ ребенка сосѣдкѣ-старухѣ или дочери своей малолѣткѣ. Уйдетъ на работу, а забота о младенцѣ сердце такъ и гложетъ, такъ и гложетъ... Сестренка-малолѣтка по добротѣ, да по незнанію — кашей накормитъ, да хлѣба въ ротъ сунетъ.

У Машеньки-барыни младенецъ съ каждымъ днемъ хорошѣетъ. Какъ сахаръ бѣлый, какъ яблоко румяный, да крѣпкій.

У фабричной работницы, прачки, ремесленницы ребенокъ съ каждымъ днемъ худѣетъ. По ночамъ ногами стучитъ, корчится и плачетъ. Докторъ придетъ ругается:

„Зачѣмъ грудь не давали! Зачѣмъ всякой дряней кормить вздумали? Матери тоже!.. Теперь сами и вините себя, если ребенокъ помретъ“.

Не оправдываются сотни-тысячъ матерей-работницъ. Стоятъ понуря голову, украдкой слезы вытираютъ.

VII.

Мрутъ, какъ мухи.

И мрутъ младенцы — дѣти наемныхъ рабочихъ и работницъ, мрутъ, какъ мухи...

Въ Россіи каждый годъ погибаетъ болѣе милліона младенцевъ до года.

Милліонъ дѣтскихъ могилокъ!

Милліонъ грустящихъ матерей!

Чьихъ же дѣтей собираетъ косарь-смерть, выходя на жатву весеннихъ цвѣтовъ — дѣтскихъ жизней?

Уже конечно, меньше всего собираетъ смерть свою жатву въ квартирахъ богатыхъ людей.

Тамъ, гдѣ младенецъ живетъ въ теплѣ и холѣ, гдѣ пища его — молоко матери или наемной кормилицы, — тамъ растутъ и здоровѣютъ дѣти.

Въ королевскихъ семьяхъ на 100 новорожденныхъ умираетъ 6—7 малышей. Въ семьяхъ рабочихъ 30—45 младенцевъ.

Во всѣхъ странахъ, гдѣ капиталисты хозяйничаютъ, а рабочій людъ бѣдствуетъ и продаетъ свои рабочія руки — умираетъ много младенцевъ.

Но всего больше коситъ смерть дѣтей въ Россіи. На каждые 100 новорожденныхъ остается въ живыхъ:

въ	Норвегіи	93	младенца
въ	Швейцаріи	89	„
въ	Англіи и Финляндіи . .	88	„
во	Франціи	86	„
въ	Австріи и Германіи . . .	80	„
въ	Россіи	72	младенца

Но есть мѣста въ Россіи, есть губерніи, особенно тамъ, гдѣ много фабрикъ и заводовъ, гдѣ изъ 100 дѣтей умираетъ

51... Въ кварталахъ больших городовъ, гдѣ живутъ богатые люди, на 100 новорожденныхъ умираетъ 8—9, въ кварталахъ рабочихъ — 30—31... Почему же такъ мрутъ дѣти рабочихъ, пролетаріевъ?

Чтобы ребенокъ выросъ здоровымъ, крѣпкимъ, сильнымъ, ему нужно: чистый воздухъ, тепло, сонце, опрятность, бережный, внимательный уходъ. Ему нужна грудь материнская, это его естественная пища, отъ которой онъ крѣпнетъ и растетъ.

У кого изъ младенцевъ рабочей семьи есть все, что мы перечислили?

Потому и вьетъ себѣ прочное гнѣздо безглазая смерть въ квартирахъ рабочей семьи, что здѣсь, по бѣдности, царитъ и скученность и сырость, что солнечный лучъ не проникаетъ въ подвалы, что гдѣ тѣсно, тамъ обычно и грязно, что нѣтъ возможности у матерей рабочаго класса — исполнять свой священный долгъ, позаботиться какъ слѣдуетъ о младенцѣ. Наука установила, что самый страшный врагъ младенцевъ — „искусственное вскармливаніе“, т. е. лишеніе груди материнской.

Въ 5 разъ больше умираетъ младенцевъ, вскормленныхъ коровьимъ молокомъ, чѣмъ дѣтей, берущихъ материнскую грудь. Если же младенцевъ не питать коровьимъ

молокомъ, а всякой иной пищей, ихъ умираетъ въ 15 разъ больше.

А гдѣ-же работницѣ, работая внѣ дома, на фабрикѣ, въ мастерской, кормить ребенка?

Еще хорошо, если денегъ на коровье молоко хватаетъ. И того не бываетъ... Да и какое молоко подсовываютъ торговцы работницѣ-матери, мѣлъ водой разведенный...

Оттого-то изъ ста, умирающихъ младенцевъ, гибнетъ отъ болѣзни желудка 60!

А сколько другихъ гибнетъ еще отъ второй причины: „нежизнеспособности", какъ доктора говорятъ. А это значитъ: либо мать не доносила, отъ тяжелой работы рано родила, либо въ утробѣ младенца своего повредила, отравила парами фабричными....

Развѣ можетъ, въ самомъ дѣлѣ, женщина рабочаго класса свой долгъ материнскій исполнить?

VIII.

Наемный трудъ и материнство..

Было время, оно не за горами, его еще помнятъ бабушки наши, когда женщина знала только домашнюю работу: хозяйство, ремесло у себя на дому.

И тогда не сидѣли женщины неимущаго класса безъ дѣла, тяжела бывала ра-

бота по дому: стряпать, шить, стирать и ткать, полотно бѣлить, на огородѣ, на полѣ работать. Но не отрывалъ трудъ женщины отъ люльки, не отгораживалъ ее толстой фабричной стѣной отъ ребятишекъ ея.... Какъ ни бѣдна была женщина, пусть даже нищая, младенецъ ея засыпалъ у ней на рукахъ.

Но время перемѣнилось.

Выросли заводы и фабрики, открылись мастерскія. Нищета гнала женщину изъ дому — фабрика ее притягивала въ свои желѣзные когти. Но, когда захлопываются за женщиной фабричныя ворота, ей приходится сказать прощай материнству. Что только не дѣлаетъ съ женщиной, бывшей и будущей матерью, наемная работа? Какъ только не калѣчится женщина-мать трудомъ на хозяина! Если день-деньской стучитъ на швейной машинкѣ, — она наживаетъ тяжелыя болѣзни матки. Если она идетъ на ткацкую или прядильную фабрику, на резиновую, фарфоровую мануфактуру, на спичечную фабрику или химическій заводъ — зловредные пары, прикосновеніе къ ядовитымъ веществамъ отравляютъ не только ее, но и значительно ея младенца. Если она работаетъ со свинцомъ или ртутью, она становится безплодной, или рожаетъ мертвыхъ

дѣтей, если она дышитъ никотиномъ въ папиросныхъ и табачныхъ фабрикахъ, она губитъ младенца, отравляетъ его молокомъ своимъ.. Она убиваетъ, уродуетъ младенца, таская непосильныя тяжести, простаивая беременная за станкомъ или прилавкомъ половину сутокъ, носясь по приказанію барыни внизъ и вверхъ по лѣстницѣ, служа прислугой.

Нѣтъ такой грязной, вредной работы, которую бы не дѣлали сейчасъ наемныя работницы, нѣтъ такого промысла, гдѣ бы не встрѣчались беременныя или кормящія матери...

Наемный трудъ при тѣхъ условіяхъ, въ какихъ живетъ работница, могила материнства.

IX.

Гдѣ выходъ?

Стоитъ ли работницѣ вынашивать дѣтей, если младенцы рождаются калѣками недоношенными, если они мрутъ, какъ мухи? Стоитъ ли работницѣ терпѣть муки материнства, если ей приходится бросить свое дитя съ младенческихъ дней на „безпризорность“. Если нѣтъ у работницы возможности исполнить долга: воспитать ребенка, какъ бы хотѣла, позаботиться о немъ, сдѣлать изъ него че-

ловѣка.?

Не проще ли отказаться отъ материнства?

Многія работницы начинаютъ остерегаться беременности.

Не по силамъ становится крестъ материнства..

Но выходъ ли это?

Неужели этой послѣдней радости должны лишить себя женщины рабочаго класса?

Неужели только потому, что жизнь и такъ ихъ обидѣла, что бѣдность покоя не даетъ, что фабрика силы выматываетъ, должна работница отказаться отъ права на материнскую радость, уступишь все счастье материнское Машенькамъ-барынямъ?

Отступиться безъ боя?... Не постаравшись закрѣпить за собою право, которое природа даетъ послѣдней твари, безсмысленному звѣрю?

Развѣ нѣтъ другого выхода?

Конечно есть!

Только не каждая работница его еще знаетъ.

X.

Какъ оно можетъ быть? . . .

Представимъ себѣ общество, народъ, государство, гдѣ нѣтъ больше Машенекъ-ба-

рынь, нѣтъ и Машенекъ-прачекъ. Нѣтъ тунеядцевъ, но нѣтъ и наемныхъ рабочихъ. Всѣ люди одинаково трудятся и за это общество, государство о нихъ заботится, облегчаетъ имъ жизнь.

Точно такъ, какъ сейчасъ родственники Машенекъ-барынь заботятся о нихъ, такъ это общество будто, большая, дружная семья, будетъ заботиться о болѣе слабыхъ: о женщинахъ, о дѣтяхъ.

Когда Машенька, (не барыня и не работница, а просто гражданка) забеременѣетъ, ей не придется страшиться, что будетъ съ нею, съ ребенкомъ.

Общество — большая дружная семья, обо всемъ позаботится.

Къ услугамъ Машеньки будетъ находиться домъ-пріютъ, окруженный садомъ, цвѣтами, домъ гдѣ будетъ устроено такъ, чтобы радостно, здорого и удобно жилось каждой беременной, каждой роженицѣ, каждой кормящей..... Забота докторовъ въ этомъ обществѣ-семьѣ сведется къ тому: какъ не только сохранить здоровье матери и младенца, но и облегчить женщинѣ муки родовъ?

Наука шагаетъ впередъ, наука и здѣсь поможетъ. Когда окрѣпнетъ младенецъ — мать вернется къ себѣ, къ обычной жизни, чтобы опять нести часть работы на пользу

большой семьи-общества.

Но за младенца страдать ей не придется. Общество и тутъ подоспѣетъ на помощь; въ дѣтскомъ саду, въ дѣтской колоніи, въ ясляхъ и въ школѣ будутъ дѣти расти подъ присмотромъ опытныхъ нянь. Когда мать пожелаетъ — дѣти всегда съ нею. Некогда ей — она знаетъ, что ребенокъ въ надежныхъ рукахъ.....

Не будетъ больше креста материнства, останется для каждой женщины лишь та радость, лишь то большое материнское счастье, какимъ пользуются теперь только барыни-Машеньки.

Но не сказка ли такое общество? Можетъ ли оно быть?.

Наука о хозяйствѣ народовъ, объ исторіи общества и государства показываетъ, что такое общество должно быть и будетъ, что, какъ бы не противились тому богатые капиталисты, фабриканты, помѣщики, собственники —„сказка“ сбудется и станетъ былью.

За эту „быль“ уже и сейчасъ по всему свѣту борется рабочій классъ. И, если еще и далеко до того, чтобы общество стало одной дружной семьей если еще много борьбы и жертвъ впереди, все же вѣрно, что уже и сейчасъ, въ другихъ странахъ,

рабочіе многаго добились.

Пытаются рабочіе и работницы также законами и всякими мѣрами, облегчить и работницѣ крестъ материнства.

XI.

Что можетъ дѣлать законъ?

Первое, что могутъ сдѣлать и чего добиваются рабочіе и работницы во всѣхъ странахъ, — это заставить взять подъ защиту мать-работницу.

Разъ нищета, необезпеченность гонитъ женщину на наемную работу, и разъ съ каждымъ годомъ растетъ число женщинъ наемныхъ работницъ, надо по крайней мѣрѣ сдѣлать такъ, чтобы наемный трудъ не сталъ бы могилой материнства.

Законъ долженъ вмѣшаться, законъ долженъ помочь женщинѣ совмѣстить материнство и трудъ.

Рабочіе и работницы всѣхъ странъ требуютъ полнаго запрещенія ночного труда для женщинъ и подростковъ.

Восьми часового рабочаго дня для всѣхъ работающихъ по найму, запрещеніе брать на работу дѣтей моложе 16 лѣтъ; подросткамъ же дѣвочкамъ свыше 16 лѣтъ разрѣшить работу только на полъ-дня. Требованіе это важное и именно для буду-

нихъ матерей: годы 16—17 рѣшительные годы въ жизни женщины, тутъ она формируется, крѣпнетъ, развивается, какъ женщина. Если подорвать ея силы въ эти годы — навѣки испорчена она для здороваго материнства.

Законъ долженъ строго предписать, чтобы условія труда и вся обстановка въ мастерской не вредили бы здоровью женщины: вредные способы изготовленія товара должны быть замѣнены безвредными или совсѣмъ запрещенны, — тяжелыя работы (тасканіе тяжестей, работа съ ножными станками и т. д.) облегчены машинами; мастерскія должны содержаться опрятно, въ нихъ не должны быть невыносимой жары или немилосерднаго холода, должны быть чистые клозеты, умывальни, столовыя для ѣды т. п. Все это можно имѣть, на образцовыхъ, показныхъ фабрикахъ это уже и введено. Да фабриканты скупятся. Всякія „мертвыя“ приспособленія, усовершенствованія — дороги, а человѣческая жизнь такъ дешева....

Крайне важно также, чтобы законъ предписалъ сидѣнья для женщинъ всюду, гдѣ только возможно. А также, чтобы назначалъ серьезные, а не пустяковые штрафы съ фабриканта за нарушеніе закона.

Надзоръ за тѣмъ, чтобы законы испол-

лялись надо поручить не только фабричнымъ инспекторамъ, но и выборнымъ отъ рабочихъ.

XII.

Охрана материнства.

Законъ долженъ сверхъ того охранить и мать.

Сейчасъ у насъ по русскому закону: статья 126-1 Устава о Промышленности, — работницы на крупныхъ фабрикахъ и заводахъ имѣютъ право на отпускъ во время родовъ на 4 недѣли.

Разумѣется, этого мало.

Въ Германіи, Франціи и Швейцаріи, напр., родильница имѣетъ право на отпускъ безъ потери мѣста на 8 недѣль до и послѣ родовъ.

Но и это недостаточно.

Рабочая партія требуетъ: права на оставленіе работы до родовъ за 8 недѣль и запрещеніе работъ на 8 недѣль послѣ родовъ: всего отдыхъ на 16 недѣль.

Кромѣ того законъ долженъ предписать, чтобы каждой кормящей матери были даны перерывы въ теченіе рабочаго дня для кормленія грудью младенца. Такое требованіе уже существуетъ въ законахъ Италіи и Испаніи.

Законъ долженъ требовать устройство

яслей и теплыхъ помѣщеній для кормленія младенцевъ при мастерскихъ и фабрикахъ.

Страхованіе материнства.

Однако, мало, чтобы законъ охранилъ мать-работницу, чтобы онъ запретилъ ей работать. Надо, чтобы общество, государство обезпечило женщину на это время.

Хорошъ былъ-бы „отдыхъ" если-бы женщинѣ съ ребенкомъ просто запретили-бы 16 недѣль зарабатывать себѣ на пропитаніе! Это значило бы обречь женщину на вѣрную смерть.

Рядомъ съ охраной труда работницы должно быть введено и обезпеченіе материнства на счетъ государства.

Такое обезпеченіе или страхованіе материнства уже введено сейчасъ въ 11 странахъ: Германіи, Австріи, Венгріи, Люксенбургѣ, Англіи, Италіи, Франціи, Австраліи, Норвегіи, Сербіи, Румыніи, Босніи-Герцеговинѣ, Россіи.

Въ одиннадцати странахъ работница страхуется, какъ и у насъ въ Россіи, въ страховыхъ кассахъ и должна платить свои взносы каждую недѣлю.

За это время родовъ ей дается воспомоществованіе деньгами (разное въ разныхъ странахъ, но нигдѣ не выше полнаго заработка), а также помощь врача и акушерки.

Въ Италіи работницы страхуются въ особыхъ кассахъ материнства, куда дѣлаютъ взносы работница и предприниматель, хозяинъ, а также доплачиваетъ государство. Все-таки и здѣсь тяжесть страхованія несетъ работница.

Во Франціи-же и въ Австраліи работница не дѣлаетъ въ кассу никакихъ взносовъ. Въ этихъ странахъ каждая необезпеченная мать, замужняя или внѣ-брачная, получаетъ отъ государства помощь: во Франціи на 8 недѣль (20 коп. до 50 коп. въ день, — иногда и больше), сверхъ того помощь врача и акушерки, а въ Австраліи 50 руб. единовременнаго пособія. Во Франціи, кромѣ того, устроено, чтобы къ роженицѣ приходила „замѣстительница хозяйки“. Это обыкновенно одна изъ сосѣдокъ, подруга, которая прошла небольшой даровой курсъ, какъ ухаживать за роженицей и младенцемъ. Она приходитъ каждый день, пока роженицѣ приказано лежать, прибираетъ домъ, стряпаетъ обѣдъ, ухаживаетъ за младенцемъ, и за это ей платятъ изъ кассы.

Во Франціи, Швейцаріи, Германіи и Румыніи кормящая мать также пользуется пособіемъ изъ страховыхъ кассъ.

Такимъ образомъ, первые шаги къ обезпеченію матерей сдѣланы.

XIV.

Чего требуютъ рабочіе?

Но, разумѣется, это еще мало. Рабочій классъ добивается, чтобы вся тяжесть материнства снята была со слабыхъ плечъ женщины и переложена на общество, чтобы законъ и государство облегчили ей худшую заботу — матеріальную, денежную.

Хотя рабочій классъ и знаетъ, что полную заботу о матери и ребенкѣ возьметъ на себя только новое общество — „дружная, большая семья“, — о которой мы разсказывали выше, но уже и сейчасъ можно добиться облегченія участи матерей-работницъ.

Много уже достигнуто, надо только бороться дальше, дружно добиваться еще большаго.

Рабочая партія во всѣхъ странахъ требуетъ: чтобы страхованіе материнства существовало для всѣхъ женщинъ, кто-бы онѣ ни были, прислуга или работница, ремесленница или сельская батрачка.

Пособіе должно выдаваться до и послѣ родовъ, всего на 16 недѣль, но можетъ быть еще продолжено, если врачъ найдетъ, что мать недостаточно оправилась, или младенецъ не довольно окрѣпъ.

Пособіе должна получать женщина, даже

если ребенокъ умеръ, или роды были преждевременные, чтобы дать матери оправиться.

Пособіе должно быть въ полтора раза больше, чѣмъ заработная плата работницъ, а если оно выдается не работающей по найму женщинѣ, то надо брать среднюю плату, какую получаютъ женщины въ этой мѣстности, и тоже увеличить ее въ полтора раза.

Но очень важно, чтобы въ законѣ стояло:

Воспомоществованіе ни при какихъ условіяхъ не должно быть ниже 1 руб. въ день для большихъ городовъ и 75 к. въ день для селъ и мелкихъ городовъ. Иначе, при низкомъ заработкѣ, напр., 30 коп. въ день, мать будетъ получать всего 45 коп. (въ полтора раза больше заработка). Но развѣ на 45 коп. въ день можно прожить матери и младенцу безъ лишеній, развѣ можетъ она имѣть на 45 коп. все, что нужно для здоровья и жизни? Кормящая мать также должна получать на весь срокъ кормленія грудью, не меньше, чѣмъ на 9 мѣс. вспомоществованіе изъ кассы; размѣръ пособія кормящей можетъ составлять хотя-бы половину заработной платы!

Пособіе должно выдаваться матерямъ въ два срока: до родовъ и послѣ родовъ, и

прямо на руки самой матери, или лицу, которому она довѣрила получить за нее пособіе.

Право на пособіе должно быть признано за женщиной безъ всякихъ условій, какія ставитъ сейчасъ законъ, у насъ въ Россіи, напр., надо быть 3 мѣс. членомъ кассы, чтобы получить пособіе.

Роженицѣ должна быть обезпечена безплатная помощь врача, акушерки, безплатный уходъ за родильницей; кромѣ того помощь „замѣстительницъ хозяекъ", какъ во Франціи, и какъ отчасти дѣлается уже и въ Германіи и Англіи.

Контроль надъ тѣмъ, какъ соблюдается законъ, все-ли получила родильница, на что имѣетъ право по закону, долженъ быть устроенъ изъ выборныхъ отъ самихъ работницъ.

По закону роженица и кормящая мать должна имѣеть право получать на счетъ кассы, городского или земскаго самоуправленія — безплатное молоко, и, если надо, полное приданное для новорожденнаго.

Рабочая партія требуетъ также, чтобы городъ, земство или страховыя кассы устраивали при фабрикахъ на счетъ фабриканта и города или земства: ясли для младенцевъ, расположенныя такъ, чтобы каждая

кормящая работница легко могла бы навѣстить и покормить младенца въ перерывѣ, который даетъ ей законъ.

Дѣлами яслей должны завѣдывать не дамы-благотворительницы, а сами матери-ботницы.

Городъ, земство или страховыя кассы должны также устроить на свой счетъ:

Достаточное количество 1) родильныхъ пріютовъ 2) убѣжищъ для одинокихъ, часто безработныхъ, беременныхъ и кормящихъ матерей, какія уже сейчасъ есть во Франціи, Германіи, Венгріи, 3) безплатныхъ пріемовъ врачей спеціально для дѣтей и матерей, чтобы врачъ могъ слѣдить за беременностью, давать совѣты, указывать кормящей матери правила ухода за дѣтьми, 4) клиники для больныхъ младенцевъ, какъ это устроила „лига работницъ" въ Англіи, 5) дѣтскіе сады, куда мать могла бы отдавать дѣтишекъ 2—5 лѣтъ, пока она на работѣ. Сейчасъ мать возвращается съ работы усталая, измученная, ей нуженъ отдыхъ, покой, а тутъ дѣтишки голодны, неумыты, неприбраны... Сразу впрягайся въ работу, То ли дѣло, когда мать съ работы зайдетъ за дѣтьми въ дѣтскій садъ. Дѣти накормлены, умыты, радостны, полны „интересныхъ" новостей..... Идутъ съ матерью

домой — щебечутъ. Кто постарше еще матери дома пособитъ въ хозяйствѣ, — ихъ въ дѣтскомъ саду и этому выучили... Гордятся новыми знаніями! 6) Кромѣ того, городъ долженъ устроить безплатные курсы ухода за младенцами для матерей или молодыхъ дѣвушекъ. 7) А также, какъ это введено во Франціи, безплатные обѣды и завтраки для беременныхъ и кормящихъ работницъ.

Но всѣ эти мѣры не должны носить горькаго привкуса „благотворительности“.

Право каждаго члена общества, а значитъ и работницы, каждаго гражданина и гражданки требовать отъ государства и общества, чтобы оно позаботилось о своихъ гражданахъ. На что же люди и образовали государство, какъ не для того, чтобы оно заботилось о благѣ всѣхъ? Сейчасъ этого нигдѣ нѣтъ на землѣ. Власть въ рукахъ богатыхъ, имущихъ. Но рабочіе и работницы всѣхъ странъ добиваются того, чтобы общество и государство, дѣйствительно, стали бы большой дружной семьей, гдѣ всѣ дѣти равны и гдѣ обо всѣхъ семьяхъ одинаково заботится. Тогда и участь матерей будетъ другая, тогда и косарь-смерть перестанетъ собирать свою обильную жатву среди новорожденныхъ.

Что должна сдѣлать каждая работница?

Какъ добиться всѣхъ этихъ требованій? Что надо сдѣлать для этого?

Надо, чтобы каждая женщина рабочаго класса, каждая, которая прочтетъ эту книжку, не оставалась бы равнодушно въ сторонѣ, а поддержала бы движеніе рабочаго класса, которое борется за всѣ эти требованія, которые отвоевываетъ у стараго міра новое и лучшее будущее, гдѣ не будетъ больше горькихъ материнскихъ слезъ, гдѣ крестъ материнства — превратится въ высшую радость и гордость женщины.

Надо только сказать себѣ: „сила въ единеніи". Чѣмъ больше насъ работницъ войдетъ въ движеніе рабочаго класса, — тѣмъ больше будетъ наша сила, тѣмъ скорѣе завоюемъ желаемое...

Дѣло идетъ о нашемъ счастьѣ, о жизни и о будущемъ нашихъ дѣтей!

КОНЕЦЪ.

ГОСПОДА ОБМАНОВЫ.

Когда Алексѣй Алексѣевичъ Обмановъ, честь честью отпѣтый и помянутый, упокоился въ фамильной часовенкѣ, при родовой своей церкви, въ селѣ Большіе-Головотяпы, Обманова тожъ, впечатлѣнія и точки въ уѣздѣ были пестры и безконечны. Обезхозяилось самое крупное имѣніе въ губерніи, остался безъ предводителя дворянства огром ный уѣздъ. ,

На похоронахъ рыдали:

— Этакого благодѣтеля намъ уже не нажить.

И — въ то же время всѣ безъ исключенія чувствовали:

— Фу, пожалуй, теперь и полегче станетъ...

Но чувствовали очень про себя, не рѣшаясь и конфузясь высказать свои мысли вслухъ. Ибо — хотя Алексѣя Алексѣевича втайнѣ почти всѣ не любили, но и почти всѣ конфузились, что его не любятъ, и удивлялись, что не любятъ.

— Прекраснѣйшій человѣкъ, а вотъ поди же ты...... Не лежитъ сердце!

— Какой хозяинъ!

—Образцовый семьянинъ!

— Чады и домочадцы воспиталъ въ страхѣ Божіемъ!.

— Дворянство наше только при немъ и свѣтъ увидѣло! Высоко знамя держалъ-съ!

— Да-съ, не то, что у другихъ, которые! Повсюду теперь язвы-то эти пошли: купёцъ-каналья, да мужикофилы, да оскудѣніе.

— А у насъ безъ язвовъ-съ.

— Какъ у Христа за пазухой.

Словомъ, казалось бы, всѣ причины для общественнаго восторга соединились въ лицѣ покойника, и всѣ ему отъ всего сердца

отдавали справедливость, и однако, когда могильная земля забарабанила о крышку его гроба, — на многихъ лицахъ явилось странное выраженіе, которое можно было толковать двусмысленно — и какъ:

— На кого мы, горемычные, остались.

И:

— Не встанетъ. Отлегло.

Двусмысленнаго выраженія не остались чуждыми даже лица ближайшихъ семейныхъ покойнаго. Даже супруга его, облагодѣтельственная имъ, ибо взятая за красоту изъ гувернантокъ, Марина Филиповна, — когда перестала валяться по кладбищу во вдовьихъ обморокахъ и заливаться слезами, — положила послѣдніе кресты и послѣдній поклонъ предъ могилою съ тѣмъ же загадочнымъ взоромъ:

— Конечно. Теперь совсѣмъ другое пойдетъ.

Сынъ Алексѣя Алексѣевича, новый и единственный владѣлецъ и вотчиникъ Большихъ Головотяповъ, Никандръ Алексѣевичъ Обмановъ, въ просторѣчіи Ника-Милуша, былъ смущенъ болѣе всѣхъ.

Это былъ маленькій, миловидный, застѣнчивый молодой человѣкъ, съ робкими, красными движеніями, съ глазами, то ясно довѣрчивыми, то грустно обиженными, какъ у серны въ звѣринцѣ.

Предъ отцомъ онъ благоговѣлъ и во всю жизнь свою ни разу не сказалъ ему: нѣтъ. Попросился онъ, кончая военную гимназію, въ университетъ, — родитель посмотрѣлъ на него холодными, тяжелыми глазами на выкатѣ:

— Зачѣмъ? Крамолъ набираться?

Никандръ Алексѣевичъ сказалъ:

— Какъ вамъ угодно будетъ, папенька.

И такъ какъ папенькѣ было угодно пустить его по военной службѣ, то не только безропотно, но даже какъ бы съ удовольствіемъ проходилъ нѣсколько лѣтъ въ офицерскихъ погонахъ. Въ полку имъ нахвалиться не могли, въ обществѣ прозвали Никою-Милушею и прославили образцомъ порядочности; все сулило ему блестящую карьеру. Но какъ скоро Алексѣй Алексѣевичъ сталъ старѣть, онъ приказалъ сыну выйти въ отставку и ѣхать въ деревню. Сынъ отвѣчалъ:

— Какъ вамъ угодно будетъ, папенька.

И — только Марина Филиповна осмѣлилась, было, заикнуться передъ своимъ непреклоннымъ повелителемъ:

— Но вѣдь онъ можетъ быть въ тридцать пять лѣтъ генералъ!

На что и получила суровый отвѣтъ:

— Прежде всего, матушка, онъ дворянинъ и долженъ быть дворяниномъ. А дворянское первое дѣло — на землѣ сидѣть-съ! Да-съ! Хозяиномъ быть-съ! И когда я помру, желаю, чтобы сію священную традицію могъ онъ принять отъ меня со знаніемъ и честью.

И сидѣлъ Ника-Милуша въ большихъ-Головотяпахъ-Обмановкѣ тожъ, безвыходно, безвыѣздно, — къ хозяйству не пріучился, ибо теоріи-то дворянско-земельныя старикъ хорошо развивалъ, а на практикѣ ревнивъ былъ и ни къ чему сына не допускалъ:

— Гдѣ тебѣ! Молодецъ еще! Приглядывайся: коли есть голова на плечахъ, когда нибудь и хозяиномъ будешь.

— Слушаю, папенька. Какъ вамъ угодно, папенька.

Заогромнымъ деревенскимъ досугомъ, совершенно бездѣльнымъ, ничѣмъ рѣшительно не развлеченнымъ и неутѣшеннымъ, Ника непремѣнно впалъ бы въ пьянство и развратъ, если бы не природная опрятность натуры и опять-таки не страхъ родительскаго возмездія. Ибо-какихъ-какихъ обвиненій ни взводили на Алексѣя Алексѣевича враги его, а тутъ пасовали:

— Воздержанія учитель-съ.

— Распустныхъ не терплю! — рычалъ онъ, стуча по письменному столу кулачищемъ. И, внемля стуку и рыку, всѣ горничныя въ домѣ спѣшили побросать въ огонь безграмотныя цидулки, получаемыя отъ «очей моихъ света, милаво предмета», такъ какъ достаточно было барину найти такую записку въ сундукѣ одной изъ домочадицъ, чтобы мирная обмановская усадьба мгновенно превратилась въъ юдоль плача и стенаній, и преступница съ изрядно-нахлестанными щеками и съ дурнымъ расчетомъ, очутилась со всѣмъ своимъ скарбомъ за воротами:

— Ступай, жалуйся!

И всѣ трепали, и никто не жаловался.

Цѣломудріе Алексѣя Алексѣевича было тѣмъ поразительнѣе и изъ ряду вонъ, что до него оно однюдь не могло считаться въ числѣ фамилѣйныхъ обмановскихъ добродѣтелей. Наоборотъ. Уѣздъ и по сей-часъ еще воспоминаетъ, какъ во времена онъ налетѣлъ въ Большіе-Головотяпы дѣвушка Алексѣя Алексѣевича, Никандръ Памфиловичъ, — бравый майоръ въ отставкѣ, съ громовымъ голосомъ, съ страшными усищами и глазами на выкатѣ, съ зубодобрительнымъ кулакомъ, высланный изъ Петербурга за похищеніе изъ театральнаго училища юной кордебалетной феи. Первымъ дѣломъ этого достойнаго дѣятеля было такъ основательно усовершенствовать человѣческую породу въ своихъ, тогда еще крѣпостныхъ, владѣніяхъ, что и до сихъ поръ еще въ Обмановкѣ не рѣдкость встрѣчать бравыхъ пучеглазыхъ стариковъ съ усами, какъ лѣсъ дремучій, и насмѣшливая кличка народная всѣхъ ихъ зоветъ «майорами». Помнятъ и наслѣдника майорова, красавца Алексѣя Никандровича. Этотъ былъ совсѣмъ не въ родителя: танцовщицъ не похищалъ, крѣпостныхъ породъ не усовершенствовалъ, а явившись въ Большіе-Головотяпы какъ разъ въ эпо-

ху эмансипацій оказался однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ и либеральныхъ мировыхъ посредниковъ. Имѣлъ грустные голубые глаза, говорилъ мужикамъ «вы» и развивалъ уѣздныхъ львицъ, читая имъ вслухъ «Что дѣлать»? Считался краснымъ и даже чуть ли не корреспондентомъ въ «Колоколѣ». Но при всѣхъ своихъ цивильныхъ добродѣтеляхъ обладалъ непостижимою слабостью — вовлекать въ амуры сосѣдныхъ дѣвицъ, предобродушно — и, кажется, всегда отъ искренняго сердца — обѣщая каждой изъ нихъ непремѣнно на ней жениться. Умеръ двоеженцемъ, — не подъ судомъ только потому, что умеръ.

И вотъ, послѣ такихъ предковъ,—вдругъ Алексѣй Алексѣевичъ!.

Алексѣй Алексѣевичъ, о которомъ вдова его, Мирина Филиповна, — по природѣ весьма ревнивая, но въ теченіе всего супружества ни однажды не имѣвшая повода къ ревности, до сихъ поръ слезно причитаетъ:

— Боннѣ глазомъ не моргнулъ! Горничной дѣвки не ущипнулъ! Картины голыя, которыя отъ покойника папеньки въ дому

остались, поснимать велѣлъ и на чердакъ вынести.

Такъ выжилъ Алексѣй Алексѣевичъ въ добродѣтели самъ и сына въ добродѣтели выдержалъ.

Единственнымъ органомъ печати, проникавшимъ въ Обмановку, былъ «Гражданинъ» князя Мещерскаго. Хотя въ юности своей и воспитанникъ катковскаго лицея, Алексѣй Алексѣевичъ даже «Московскихъ Вѣдомостей» не признавалъ:

— Я дворянинъ-съ и дворянскаго чтенія хочу, а отъ нихъ приказнымъ пахнетъ-съ.

— Но вѣдь Катковъ.... пробовали возразить ему другіе, кто же охранительные «красные околыши»:

— Катковъ умеръ-съ.

— Но преемники.......

— Какіе же преемники-съ? Не вижу-съ. Земская ярыжка-съ. А я дворянинъ.

И упорно держался «Гражданина». И весь домъ читалъ «Гражданинъ». Читалъ и Ника-Милуша, хотя злые языки говорили и говорили правду, будто подговоренный мужичокъ съ ближайей желѣзнодорожной станцiи носилъ ему потихоньку и «Русскiя Вѣдомости». И-будто сидитъ, бывало, Ника, якобы «Гражданинъ» изучая, — анъ, подъ «Гражданиномъ» то у него «Русскiя Вѣдомости». Нѣтъ папаши въ комнатѣ, онъ въ «Русскiя Вѣдомости» вопьется. Вошелъ папаша въ комнату, — онъ сейчасъ страничку перевернулъ и пошелъ наставляться отъ кн. Мещерскаго, какъ надлежитъ драть кухаркина сына въ три темпа. И получилось изъ такой Никиной двойной читанной бухгальтерiи два невольныхъ самообмана.

— Твердой дворянинъ изъ Ники бедетъ! думалъ отецъ.

На станціи же о немъ говорили:

— А сынокъ-то не въ папашу вышелъ. Свободомыслящій! Это ничего, что онъ тихоня. Но смотрите! Вотъ достанутся ему Большіе-Головотяпы, онъ себя покажетъ! Отъ всѣхъ этихъ дворянскихъ папашиныхъ затѣй-рацей только щепочки полетятъ.

И отецъ, и станція равно глубоко ошибались. Изъ всего, что было Никѣ темно и загадочно въ жизни, всего темнѣе и загадочнѣе оставался вопросъ:

— Что собственно я, Никандръ Обмановъ, за человѣкъ, каковы суть мои намѣренія и убѣжденія?

Отъ привычки урывками читалъ «Гражданинъ» не иначе, какъ въ перемежку съ потаенными «Русскими Вѣдомостями», въ головѣ его образовалась совершенно фантастическая сумятица. Онъ совершенно потерялъ границу между дворянскимъ охрани-

тельствомъ и доктринерскимъ либерализмомъ и съ полною наивностью повторялъ иногда свирѣпыя предики кн. Мещерскаго, воображая, будто цитируетъ защиту земскихъ учрежденій въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», либо, наоборотъ, пробѣжавъ изъ подъ листа «Гражданина» передовицу московской газеты, говорилъ какому нибудь сосѣду.

— А здорово пишетъ въ защиту всеобщаго обученія грамоты кн. Мещерскій!

Смерть Алексѣя Алексѣевича очень огорчила Нику. Онъ искренно любилъ отца, хотя еще искреннѣе боялся. И теперь, стоя надъ засыпанной могилой, — съ угрызеніями совѣсти сознавалъ, что въ этотъ торжественный и многозначительный мигъ, когда отходитъ въ землю со старымъ бариномъ старое поколѣніе, чувства его весьма двоят-

ся, и въ уши его, какъ богатырю скандинавскому Фритьофу, поютъ двѣ птицы, бѣлая и черная....... .

— Жаль папеньку! звучалъ одинъ голосъ.

— За то теперь вольный казакъ! возражалъ другой.

— Кто-то насъ теперь управитъ!

— Можешь открыто на «Русскія Вѣдомости» подписаться, а «Гражданинъ» хоть ко всѣмъ чертямъ послать.

— Всѣ мы имъ только и жили!

— Теперь madamoiselle Жюли можно и колье подарить......

— Что съ Обмановкой станется?

— Словно Обмановкою одной свѣтъ сошекся. Нѣтъ, бартъ, теперь ты въ какія заграницы захотѣлъ, въ такія и свиснулъ.

— Сирота ты, сирота горемычная!

— Самъ себѣ господинъ!

Такъ бѣсъ и ангелъ боролись за направленіе чувствъ и мыслей новаго собственника села Большіе-Головотяпы, Обмановка тожъ, и такъ какъ бралъ верхъ то одинъ, то другой, полнаго же преферанса надъ соперникомъ ни одинъ не могъ возымѣть, то физіономія Ники нѣсколько напомнила ту карикатурную рожицу, на которую справа взглянуть, — она смѣется, слѣва— плачетъ. Но что въ концѣ концовъ слезный ангелъ Ники долженъ будетъ ретироваться и оставить поле сраженія за веселымъ бѣсенкомъ, въ этомъ сомнѣваться было уже затруднительно.



ТОВАРИЩИ.

Горячее солнце іюля ослѣпительно блестѣло надъ Смолкиной, обливая ея старыя избы щедрымъ потокомъ яркихъ лучей. Особенно много солнца было на крышѣ старостиной избы, недавно перекрытой заново гладко выстроганнымъ тесомъ, желтымъ и пахучимъ. Было воскресенье, и почти все населеніе деревни вышло на улицу, густо поросшую травой и усѣянную кочками засохшей грязи. Передъ старостиной избой собралась большая группа мужиковъ и бабъ: иные сидѣли на завалинѣ избы, иные прямо на землѣ, другіе стояли, среди нихъ гонялись другъ за другомъ ребятишки, то и дѣло получая отъ взрослыхъ сердитые окрики и щелчки.

Центромъ толпы служилъ высокій человѣкъ съ большими, опущенными внизъ усами. По его коричневому лицу, покрытому густой сивой щетиной и сѣтью глубокихъ морщинъ, по сѣдымъ клочьямъ волосъ, выбившихся изъ подъ грязной соломенной шляпы, — этому человѣку можно было дать лѣтъ пятьдесятъ. Онъ смотрѣлъ на землю, и ноздри его большого, хрящеватаго носа вздрагивали, а когда онъ поднималъ голову, бросая взглядъ на окна старостиной избы, видны были его глаза большіе, печальные, даже мрачные, — они глубоко вваливались въ орбиты, а густыя брови кидали отъ себя тѣнь на темныя зрачки. Одѣтъ онъ былъ въ коричневый, рваный подрясникъ монастырскаго послушника, едва закрывавшій ему колѣни и подпоясанный веревкой. За спиной у него была котомка, въ правой рукѣ длинная палка съ желѣзнымъ наконечникомъ, лѣвую онъ держалъ за пазухой. кружавшіе осматривали его подозрительно, насмѣшливо, съ презрѣніемъ и, наконецъ, съ явной радостью, что имъ удалось поймать волка раньше, чѣмъ онъ успѣлъ нанести вредъ ихъ стаду. Онъ проходилъ черезъ деревню и, подойдя къ окну старосты, попросилъ напиться. Староста далъ ему квасу и заговорилъ съ нимъ. Но прохожій отвѣчалъ, про-

тивъ обыкновенія странниковъ, очень неохотно. Староста спросилъ у него документы, а документа не оказалось. И прохожаго задержали, рѣшивъ отправить въ волость. Староста выбралъ въ конвоиры ему сотскаго и теперь, въ избѣ у себя, напутствовалъ его, оставивъ арестанта среди толпы, потѣшающейся надъ нимъ.

Арестантъ, какъ былъ остановленъ у ствола ветлы, такъ и стоялъ, прислонясь къ нему своей сутулой спиной.

Но вотъ на крылцѣ избы явился подслѣповатый старикъ съ лисьимъ лицомъ и сѣдой, клинообразной бородкой. Онъ степенно опускалъ ноги въ сапогахъ со ступени на ступень, и круглый его животикъ солидно колыхался подъ длинной ситцевой рубахой. А изъ-за его плеча высовывалось бородатое четырехугольное лицо сотскаго.

— Понялъ, Ефимушка? — спросилъ староста у сотскаго.

— Чего тутъ не понять? Все понялъ. Обязанъ, значитъ, я проводить этого человѣка къ становому и— больше никакихъ! — проговоривъ свою рѣчь раздѣльно и съ комической важностью, сотскій подвигнулъ публикѣ.

— А бумага?

— А бумага — она за пазухой у меня живетъ.

— Ну то-то—вразумительно сказалъ староста и добавилъ, крѣпко почесавъ себѣ бокъ:

Съ Богомъ, значитъ, айдайте!

— Пошли! Шагаемъ что ли, отче? — улыбнулся сотскій арестанту.

— Вы бы хоть подводу дали,—глухо отвѣтилъ тотъ на предложеніе сотскаго. Староста ухмыльнулся.

— Подво-оду? Ишь-ты! Вашего брата, проходимца, много тутъ шныряетъ по полямъ, по деревнямъ..... лошадей про всѣхъ не хватитъ. Прошагаешь и пѣхтурой. Такъ-то!

— Ничего, отецъ, идемъ! — ободряюще заговорилъ сотскій. — Ты думаешь далече намъ? Дай Богъ, два десятка верстъ! Да, поди-ка, не будетъ. Мы съ тобой, отче, живо докатимъ. А тамъ ты и отдохнешь...

— Въ холодной, — пояснилъ староста.

— Это ничего, — торопливо заявилъ сотскій.... —человѣку, который ежели усталъ, и въ тюрьмѣ отдыхъ. А потомъ — холодная-то—она прохладная...... послѣ жаркаго дня—въ ней куда хорошо!

Арестантъ сурово оглянулъ своего конвоира — тотъ улыбался весело и открыто.

— Ну-ка, айда, отецъ честный! Прощай, Василь Гаврилычъ! Пошли!

— Съ Господомъ, Ефимушка!..... Смотри въ оба.

— А зри въ три!—подкинулъ сотскому какой-то молодой парень изъ толпы.

— Н-ну! Малый я ребенокъ, или что?

И они пошли, держась близко къ избамъ, чтобы идти по полосѣ тѣни. Человѣкъ въ рясѣ шелъ впереди, развинченной, но скорой походкой привычнаго къ ходьбѣ существа. Сотскій, со здоровой шапкой въ рукѣ, шелъ сзади его.

Ефимушка былъ мужичекъ низенькаго роста, коренастый, съ широкимъ добрымъ лицомъ въ рамѣ русой свалявшейся въ клочья бороды, начинавшейся отъ его сѣрыхъ, ясныхъ глазъ. Онъ всегда почти улыбался чему-то, показывая здоровые желтые зубы и такъ наморщивая переносье — точно онъ хотѣлъ чихать. Одѣтъ онъ былъ въ азямъ, заткнувъ его полы за поясъ, чтобъ онѣ не путались въ ногахъ, на головѣ у него торчалъ темнозеленый картузъ безъ козырька, напоминая арестанскую фуражку.

Его спутникъ шелъ, какъ бы совсѣмъ не чувствуя его сзади себя. Шли они по узкой проселочной дорогѣ; она вьюномъ вилась въ волнистомъ морѣ ржи, и тѣни путниковъ ползли по золоту колосьевъ.

На горизонтѣ синѣла грива лѣса, влѣво, безконечно далеко вглубь, разстилались засѣянныя поля; среди нихъ лежало темное пятно деревни, за ней опять поля, тонувшія въ голубоватой мглѣ.

Справа, изъ-за купы ветелъ, вонзился въ синее небо обитый жестью и еще не выкрашенный шпиль колокольни—онъ такъ ярко блестѣлъ на солнцѣ, что на него больно было смотрѣть.

Въ небѣ звенѣли жаворонки, во ржи улибались

васильки и было жарко—почти душно. Изъ подъ ногъ путниковъ взлетала пыль.

Ефимушка, отхаркнувшись, затянулъ фальцетомъ!

Ге-эхъ-да-и съ чего й-то-о-о....

Д'и съ чего й-то тоска сердце мое ѣсть?

— Не хватаитъ голосу-то, дуй его горой! Н-да... а бывало пѣлъ я.... Вишенскій учитель скажетъ — ну-ка, Ефимушка, заводи! И зальемся мы съ нимъ! Правильный парень былъ онъ.....

— Кто онъ? — глухимъ басомъ спросилъ человѣкъ въ рясѣ.

— А Вишенскій учитель.....

— Вишенскій—фамилія?

— Вишенки—это, братъ, село. А то учитель Павлъ Михалычъ. Первый сортъ—человѣкъ былъ. Померъ въ третьемъ году.....

— Молодой?

— Тридцати годовъ не было.....

— Съ чего померъ-то?

— Съ огорченія, надо полагать.

Собесѣдникъ Ефимушки искоса взглянулъ на него и усмѣхнулся....

— Дѣло, видишь-ты, милый человѣкъ, такое вышло — училъ онъ, училъ годовъ семь кряду, ну и началъ кашлять. Кашлялъ, кашлялъ, да и затосковалъ.... Ну, а съ тоски, извѣстно, началъ пить водку. А отецъ Алесѣй не любилъ его, и какъ запилъ онъ, отецъ-отъ Алексѣй въ городъ бумагу и спосылалъ — такъ, молъ, и такъ — пьетъ учитель-то, дескать, это—соблазнь. А изъ города въ отвѣтъ тоже бумагу прислали и учительшу. Длинная такая, костлявая, носъ большущій. Ну, Павлъ Михалычъ видитъ—дѣло швахъ. Огорчился, дескать, учитель я, училъ.... ахъ вы, черти! Отправился изъ училища прямо въ больницу да черезъ пять день и отдалъ душу Богу.... Только и всего....

Нѣкоторое время шли молча. Лѣсъ все приближался къ путникамъ съ каждымъ шагомъ, выростая на ихъ глазахъ и изъ синяго становясь зеленымъ.

— Лѣсомъ пойдемъ? — спросилъ Ефимушкинъ спутникъ.

— Краюшекъ захватимъ, съ полверсты этакъ. А что? А? Ишь ты! Гусь ты, отецъ честной, погляжу я на тебя!

И Ефимушка засмѣялся, качая головой.....

— Ты чего? — спросилъ арестантъ.

— Да такъ, ничего. Ахъ ты! Лѣсомъ, говоритъ, пойдемъ? Простъ ты, милый человѣкъ, другой бы не спросилъ, который поумнѣе ежели. Тотъ бы прямо пришелъ въ лѣсъ да и того.....

— Чего?

— Ничего! Я, братъ, тебя насквозь вижу. Эхъ ты, душа ты моя, топка дудочка! Нѣтъ, — ты эту думу — насчетъ лѣсу—брось! Или ты со мной сладишь? Да я троихъ такихъ уберу, а на тебя на одну лѣвую руку выйду... Понялъ?

— Понялъ! Дуракъ ты! — кратко и выразительно сказалъ арестнтъ.

— Что? Угадалъ я тебя? — торжествовалъ Ефимушка.

— Чучело! Чего ты угадалъ? — криво усмѣхнулся арестантъ.

— Насчетъ лѣсу.... Понимаю я! Дескать, я — это тыто, — такъ придемъ въ лѣсъ, тяпну тамъ его— меня-то, значитъ, — тяпну, да и зальюсь по-полямъ, да по лѣсамъ? Такъ ли?

— Глупый ты... — пожалъ плечами угаданный человѣкъ. — Ну куда я пойду?

— Ну ужъ, куда хочешь, — это твое дѣло...

— Да куда?—Ефимушкинъ спутникъ не то сердился, не то очень ужъ желалъ услышать отъ своего конвоира указаніе, куда именно онъ могъ бы идти.

— А-те говорю, куда хочешь! — спокойно заявилъ Ефимушка.

— Некуда мнѣ, братъ, бѣжать, некуда! — тихо сказалъ его спутникъ.

— Н-ну! — недовѣрчиво произнесъ конвоиръ и даже махнулъ рукой.—Бѣжать всегда есть куда. Земля-то, она велика. Одному человѣку на ней все-

гда мѣсто будетъ.

— Да тебѣ что? Хочется что ли, чтобъ я убѣжалъ? — полюбопытствовалъ арестантъ, усмѣхаясь.

— Ишь ты! Больно ты хорошъ! Развѣ это порядокъ? Ты убѣжишь, а за мѣсто тебя кого въ острогъ сажать будутъ? Меня тогда посадятъ. Нѣтъ, я такъ это, для разговору.....

— Блаженный ты.... а впрочемъ, кажется, хорошій мужикъ,—сказалъ, вздохнувъ, Ефимушкинъ спутникъ. Ефимушка не замедлилъ согласиться съ нимъ.

— Это точно, называютъ меня блаженнымъ нѣкоторые люди.... и что хорошій я мужикъ—это тоже вѣрно. Простой я, главная причина. Иные люди говорятъ все съ подходцемъ да съ хитрецой, а мнѣ чего? Я человѣкъ одинъ на свѣтѣ. Хитровать будешь — умрешь и правдой жить будешь — умрешь. Такъ я все напрямки больше.

— Это ты хорошо!—равнодушно замѣтилъ спутникъ Ефимушки.

— А какъ же? Для чего я стану кривить душой, коли я одинъ, весь тутъ. Я, братокъ, свободный человѣкъ. Какъ желаю, такъ и живу, по своему закону прохожу жизнь..... Н-да..... А тебя какъ звать-то?

— Какъ? Ну... хоть Иванъ Ивановъ.... .

— Такъ! Изъ духовныхъ, что ли?

— Н-нѣтъ..... .

— Ну? А я думалъ—изъ духовныхъ.... .

— Это по одеждѣ-то, что ли?

— Вотъ, вотъ! Совсѣмъ ты вродѣ какъ бы бѣглый монахъ, а то разстриженный попъ.... А вотъ лицо у тебя не подходящее, съ лица ты вродѣ какъ бы солдатъ.... Богъ тебя знаетъ, что ты за человѣкъ? — И Ефимушка окинулъ странника любопытнымъ взглядомъ. Тотъ вздохнулъ, поправилъ шляпу на головѣ, вытеръ потный лобъ и спросилъ сотскаго:

— Табакъ куришь?

— Ахъ ты, сдѣлай милость! Конечно, курю!

Онъ вытащилъ изъ-за пазухи засаленый кисетъ и, наклонивъ голову, но не останавливаясь, сталъ набивать табакъ въ глиняную трубку.

— На-ко, закуривай!—Арестантъ остановился

и, наклонясь къ зажженой конвоиромъ спичкѣ, втянулъ въ себя щеки. Синій дымокъ поплылъ въ воздухѣ.

— Такъ изъ какихъ ты будешь-то? Мѣщанинъ, что ли?

— Дворянинъ...— кратко сказалъ арестантъ и сплюнулъ въ сторону на колосья хлѣба, уже подернутые золотымъ блескомъ.

— Э-э! Ловко! Какъ же это ты безъ пачпорта гуляешь?

— А такъ и гуляю.

— Ну-ну! Дѣла! Не свычна, чай, этакая волчья жизнь для твоего дворянства? Э-эхъ ты горюнъ!

— Ну ладно ужъ.... будетъ болтать-то, —сухо сказалъ горюнъ.

Но Ефимушка съ возрастающимъ любопытствомъ и участіемъ оглядывалъ безпаспортнаго человѣка и, задумчиво качая головой, продолжалъ:

— А-яй! Какъ судьба съ человѣкомъ-то играетъ, ежели подумать! Вѣдь оно, пожалуй, и вѣрно, что ты изъ дворянъ, потому осанка у тебя этакая великолѣпная. Давно ты живешь въ такомъ образѣ?

Человѣкъ съ великолѣпной осанкой сумрачно взглянулъ на Ефимушку и отмахнулся отъ него рукой, какъ отъ назойливой осы.

— Брось, говорю! Что ты присталъ, какъ баба?

— А ты не сердись!—успокоительно проговорилъ Ефимушка.—Я по чистому сердцу говорю.... сердце у меня доброе очень......

— Ну и твое счастье.... А вотъ, что языкъ у тебя безъ умолку мелетъ—это мое несчастье.

— Ну инъ ладно! Я коли и помолчу... можно и помолчать, ежели человѣкъ не хочетъ слушать твоего разговору. А сердишься ты все-таки безъ причины... Али моя вина, что тебя на бродяжьемъ положеніи пришлось жить?

Арестантъ остановился и такъ сжалъ зубы, что его скулы выдались двумя острыми углами, а сѣдая щетина на нихъ встала ершомъ. Онъ смѣрилъ Ефимушку съ ногъ до головы загорѣвшимися злобой и прищуренными глазами.

Но раньше, чѣмъ Ефимушка замѣтилъ эту мимику, онъ снова началъ мѣрять землю широкими шагами.

На лицо болтливаго сотскаго легъ отпечатокъ разсѣянной задумчивости. Онъ посматривалъ вверхъ, откуда лились трели жаворонковъ, и подсвистывалъ имъ сквозь зубы, помахивая палкой въ тактъ своихъ шаговъ.

Подходили къ опушкѣ лѣса. Онъ стоялъ неподвижной и темной стѣной—ни звука не неслось изъ него навстрѣчу путникамъ. Солнце уже садилось, и его косые лучи окрасили вершины деревьевъ въ пурпуръ и золото. Отъ деревьевъ вѣяло пахучей сыростью; сумракъ и сосредоточенное молчаніе, наполнявшіе лѣсъ, рождали жуткое чувство.

Когда лѣсъ стоитъ передъ глазами теменъ и неподвиженъ, когда весь онъ погруженъ въ таинственную тишину, и каждое дерево точно чутко прислушивается къ чему-то,—тогда кажется, что весь лѣсъ полонъ чѣмъ-то живымъ и лишь временно притаившимся. И ждешь, что въ слѣдующій моментъ вдругъ выйдетъ изъ него нѣчто громадное и непонятное человѣческому уму, выйдетъ и заговоритъ могучимъ голосомъ о великихъ тайнахъ творчества природы.....

II.

Подойдя къ опушкѣ лѣса, Ефимушка и его спутникъ рѣшили отдохнуть и усѣлись на траву около широкаго дубоваго пня. Арестантъ медленно стащилъ съ плечь котомку и равнодушно спросилъ сотскаго:

— Хлѣба хочешь?

— Дашь, такъ пожую,—отвѣтилъ Ефимушка, улыбаясь

И вотъ они молча стали жевать хлѣбъ. Ефимушка ѣлъ медленно и все вздыхалъ, посматривая куда-то въ поле, влѣво отъ себя, а его спутникъ весь углубился въ процессъ насыщенія, ѣлъ скоро и звучно чавкалъ, измѣряя глазами свою краюху хлѣба. Поле темнѣло, хлѣба уже потеряли свой золотистый колоритъ и стали разовато-желтыми; съ юго-запада на

небо всползали лохматыя тучки, отъ нихъ на поле падали тѣни,—падали и ползли по колосямъ къ лѣсу, гдѣ сидѣли двѣ темныя человѣческія фигуры. И отъ деревьевъ тоже ложились на землю тѣни, а отъ тѣней вѣяло на душу грустью.

— Слава Тебѣ, Господи!—возгласилъ Ефимушка, собравъ съ полы азяма крошки хлѣба и слизалъ ихъ съ ладони языкомъ.—Господь напиталъ—никто не видалъ, а кто и видѣлъ, такъ не обидѣлъ! Другъ! Посидимъ здѣсь часокъ? Успѣемъ въ холодную-то?

Другъ кивнулъ головой.

— Ну вотъ.... Мѣсто больно хорошее, памятное мнѣ мѣсто..... Вонъ тамъ, влѣво, господъ Тучковыхъ усадьба была....

— Гдѣ?—быстро спросилъ арестантъ, оборачиваясь туда, куда Ефимушка махнулъ рукой....

— А эвона—за тѣмъ мыскомъ. Тутъ все вокругъ ихнее было. Богатѣйшіе господа были, но послѣ воли свихнулись.... Я тоже ихній былъ,—мы всѣ тутъ бывшіе ихніе. Большая семья была.... Полковникъ самъ-то—Александръ Никитичъ Тучковъ. Дѣти были: четверо сыновей—куда всѣ теперь подѣвались? Словно вѣтромъ разнесло людей, какъ листья по осени. Одинъ только Иванъ Александровичъ цѣлъ, —вотъ я тебя къ нему и веду, онъ у насъ становымъ-то.... Старый ужъ..... .

Арестантъ засмѣялся. Смѣялся онъ глухо, какимъ-то особеннымъ внутреннимъ смѣхомъ, — грудь и животъ у него колыхались, но лицо оставалось неподвижнымъ, только сквозь оскальные зубы вырывались глухіе, точно лающіе звуки.

Ефимушка боязливо поежился и, подвинувъ свою палку поближе къ рукѣ, спросилъ у него:

— Чего это ты? Находитъ на тебя что ли?... ась?

Ничего... это такъ, пройдетъ, сказалъ арестантъ отрывисто, но ласково. — Разсказывай знай...

— Н-да... Такъ вотъ, значитъ, какія дѣла, — были это господа Тучковы, и нѣту ихъ... Которые померли, а которые пропали, такъ ни слуху, ни духу о нихъ и нѣту. Особливо одинъ тутъ былъ... самый

меньшой Викторомъ звали... Витей. Товарищи мы съ нимъ были... Въ ту пору, какъ волю объявили, было намъ съ нимъ лѣтъ по четырнадцати... Экій мальчикъ былъ, помяни Господи добромъ его душеньку! Ручей чистый! Такъ вотъ весь день и стремится, такъ это и журчитъ... Гдѣ-то онъ теперь? Живъ или ужъ нѣтъ?

— Чѣмъ больно хорошъ былъ? — тихо спросилъ Ефимушку его спутникъ.

— Всѣмъ! — воскликнулъ Ефимушка. — Красотой, разумомъ, добрымъ сердцемъ... Ахъ ты странній человѣкзъ, душа ты моя, спѣла ягода! Посмотрѣлъ бы ты тогда на насъ двоихъ... ай, ай, ай! Въ какія игры мы играли, какая развеселая жизнь была, — люди малиша! Бывало крикнетъ — Ефимушка! — Идемъ на охоту! Ружье у него было, — отецъ подарилъ въ именины, — и мнѣ бывало стащитъ ружье. И закатимся мы это въ лѣса, да дня на два, на три! Придемъ домой — ему проборка, мнѣ порка; глядишь, на другой день снова: — Ефимушка — по грибы! — Птицы мы съ нимъ погубили — тысячи! Грибовъ этихъ собирали — пуды! Бабочекъ, жуковъ онъ ловилъ, бывало, и въ коробки ихъ, на булавки насаживалъ... Занятно! Грамотѣ меня училъ... Ефимушка, говоритъ, я тебя учить буду. Валяйте! Ну и началъ... Говори, говоритъ — а! Я ору—а-а! Смѣхи! Сначала-то мнѣ въ шутку это дѣло было — на што она, грамота-то, крестьянину?.. Ну, онъ меня увѣщеваетъ: «на то, говоритъ, тебѣ, дураку, и воля дана, чтобы ты учился... Будешь, говорить, грамотѣ знать, — узнаешь, какъ жить надо и гдѣ правду искать»... Извѣстно, малое дитя — перепмчиво, наслушался, видно, у старшихъ этакихъ рѣчей и самъ началъ тоже говорить... Пустое, конечно, все. Въ сердцѣ она, грамота-то, сердце и насчетъ правды укажетъ... Оно — глазастое... Такъ вотъ, учитъ онъ меня... такъ присосался къ этому дѣлу, — дохнуть мнѣ не даетъ! Маята! Я — молить! Витя, говорю, мнѣ грамота не въ моготу, не могу, говорю, а ее одолѣть... Такъ онъ на меня, ка-акъ рявкнетъ! Папиной нагайкой запорю — учись! Ахъ ты, сдѣлай милость! Учусь.. Разъ збѣжалъ съ урока, прямо вскочилъ да и удралъ!

Такъ онъ меня съ ружьемъ искалъ весь день — застрѣлить хотѣлъ. Послѣ говоритъ мнѣ, — кабы, говоритъ, встрѣтилъ я тебя въ тотъ день — застрѣлилъ бы, говоритъ! Вотъ какой былъ рѣзкій! Непреклонный, огневой — настоящій баринъ... Любилъ онъ меня; пламенная душа... Разъ мнѣ тятька спину вожжами расписалъ, а какъ онъ, Витя-то, увидалъ это, пришедши къ намъ въ избу, — батюшки мои — что вышло! поблѣднѣлъ весь, затрясся, сжалъ кулаки и къ тятенькѣ на полати лѣзетъ. Это, говоритъ, ты какъ смѣлъ? Тятька оворитъ — я-де отецъ! Ага! Ну хорошо, отецъ, одинъ я съ тобой не слажу, а спина у тебя будетъ такая же, какъ у Ефимки. Заплакалъ послѣ этихъ словъ и убѣгъ... И что жъ ты скажешь, отче? Исполнилъ, вѣдь, свое слово. Дворню, видно, подговорилъ, что ли, только однажды тятенька пришелъ домой, кряхтитъ; сталъ-было рубашку снимать, анъ она присохла къ спинѣ-то у него... Разсердился на меня отецъ въ ту пору — изъ-за тебя, говоритъ, терплю, барскій ты прихвостень. И здоровенную задалъ мнѣ теребачку... Ну, а насчетъ барскаго прихвостня это онъ напрасно, — а такимъ не былъ...

— Вѣрно, Ефимъ, не былъ! — утвердительно сказалъ арестантъ и весь вздрогнулъ, — это видно и сейчасъ, не могъ ты быть барскимъ прихвостнемъ, — какъ-то торопливо добавилъ онъ.

— То-то и оно! — воскликнулъ Ефимушка. — Просто я любилъ его, Витю-то... Такой это таланный ребенокъ былъ, всѣ его любили... не одинъ я... Бывало рѣчи онъ говоритъ разныя... не помню я ихъ, тридцать годовъ слишкомъ прошло съ той поры... Ахъ, Господи! Гдѣ-то онъ теперь? Чай, коли живъ, то высокое мѣсто занимаетъ или... въ самомъ омутѣ кипитъ... Жизнь людская растаковская! Кипитъ она, кипитъ, а все ничего путнаго не сварится... А люди пропадаютъ... и жалко людей, даже до смерти жалко! — Ефимушка, тяжело вздохнулъ, поникъ головой на грудь... Съ минуту длилось молчаніе.

— А меня тебѣ жалко? — весело спросилъ арестантъ и все лицо у него было освѣщено такой хорошей, доброй улыбкой...

— Да вѣдь чудакъ-человѣкъ! — воскликнулъ Ефимушка, — какъ же тебя не жалѣть? Что ты такое, ежели подумать? Коли ты бродишь, такъ, видно, нѣтъ у тебя ничего своего на землѣ-то, ни угла, ни щепочки... А можетъ еще и великъ грѣхъ ты носишь съ собой — кто тебя знаетъ? Горюнъ ты — одно слово...

— Такъ, сказалъ арестантъ...

И они снова замолчали. Солнце уже сѣло, и тѣни стали гуще. Въ воздухѣ пахло влажной землой, цвѣтами и лѣсной плѣсенью... Долго сидѣли молча.

— А какъ тутъ ни хорошо — все-таки надо идти... Намъ еще верстъ восемь осталось... Айда-ка, отче, подымайся!

— Посидимъ еще немного, — попросилъ отче...

— Да я ничего, я самъ люблю ночью около лѣса быть... Только когда жъ мы придемъ въ волость-то? Заругаютъ меня — поздно-де.

— Ничего, не заругаютъ...

— Развѣ ты словечно замолвишь, — усмѣхнулся сотскій.

— Могу.

— Ой ли?

— А что?

— Шутникъ ты! Онъ-те, становой-то, задастъ перцу!

— Дерется развѣ?

— Лютъ! И ловокъ — ахнетъ кулакомъ въ ухо, а выходитъ все равно, какъ бы косой по ногамъ.

— Ну, мы ему сдачи дадимъ, — увѣренно сказалъ арестантъ, дружески потрепавъ своего конвоира по плечу.

Это было фамильярно и не понравилось Ефимушкѣ. Какъ никакъ, а онъ все-таки начальство, и этотъ усь не долженъ забывать, что у Ефимушки за пазухой есть мѣдная бляха. Ефимушка всталъ на ноги, взялъ въ руки свою палку, вывѣсилъ бляху на самую середину груди и строго сказалъ:

— Вставай, идемъ!

— Не пойду! — сказалъ арестантъ.

Ефимушка смутился и, вытаращивъ глаза, съ

полминуты молчалъ, не понимая, съ чего это арестантъ вдругъ сталъ такой шутникъ?

— Ну, не валандайся, идемъ! — уже мягчо сказалъ онъ.

— Не пойду! — рѣшитель:но повторилъ арестантъ.

— То-есть, какъ не пойдешь? — закричалъ Ефимушка въ изумленіи и гнѣвѣ.

— Такъ. Хочу здѣсь ночевать съ тобой... Нука, разжигай костеръ...

— Я-те дамъ ночевать! Я-те такой костеръ на спинѣ у тебя разожгу — люблю-дорого — грозилъ Ефимушка. Но въ глубинѣ души онъ былъ изумленъ. Говоритъ человѣкъ — не пойду, — а сопротивленія никакого не оказываетъ, въ драку не лѣзетъ, лежитъ себѣ на землѣ и больше ничего. Какъ тутъ быть?

— Не ори, Ефимъ, — спокойно посовѣтовалъ арестантъ.

Ефимушка снова замолчалъ и, переминаясь съ ноги на ногу надъ своимъ арестантомъ, смотрѣлъ на него большими глазами. И тотъ на него смотрѣлъ, смотрѣлъ и улыбался. Ефимушка тяжело соображалъ, какъ же теперь нужно ему поступать?

И съ чего этотъ бродяга, все время такой угрюмый и злой, теперь вдругъ разбаловался такъ? А что, если навалиться на него, скрутить ему руки, дать раза два по шеѣ, да и все? И самымъ строго-начальническимъ тонюмъ, какой только былъ въ его распоряженіи, Ефимушка сказалъ:

— Ну, ты, огарокъ, вотъ что, — покочевряжился, и будетъ! Вставай! А то я тебя свяжу, такъ тогда пойдешь, небойсь! Понялъ? Ну? Смотри — бить буду!

— Меня-то? — усмѣхнулся арестантъ.

— Аа ты что думаешь?

— Вито-то Тучкова, ты, Ефимъ, бить будешь?

— Ахъ ты — пострѣлитъ-те горой! — изумленно воскликнулъ Ефимушка, — да что ты въ самомъ дѣлѣ? Что ты мнѣ представленья-то представляешь? На-ко-ся!

— Ну, будетъ кричать, Ефимушка, пора тебѣ

узнать меня, — спокойно улыбаясь, сказалъ арестантъ и всталъ на ноги, — здравствуй, что ли!

Ефимушка попятился назадъ отъ протянутой къ нему руки и во всѣ глаза смотрѣлъ въ лицо своего арестанта. Потомъ губы у него затряслись и все лицо сморщилось...

— Викторъ Александровичъ... и впрямъ, что ли, вы это? — шопотомъ спросилъ онъ.

— Хочешь — документы покажу? А то, — всего лучше, — старину напомню... Ну-ка — помнишь какъ ты въ Раменскомъ бору въ волчью яму попалъ? А какъ я за гнѣздомъ полѣзъ на дерево и повисъ на сучкѣ внизъ головой? А какъ мы у старухи-молочницы Петровны сливни крали? И сказки она намъ говорила?

Ефимушка грузно сѣлъ на землю и растерянно засмѣялся.

— Повѣрилъ? — спросилъ его арестантъ и тоже сѣлъ рядомъ съ нимъ, заглядывая ему въ лицо и положивъ на плечо его свою руку. Ефимушка молчалъ. Вокругъ нихъ стало совсѣмъ темно. Въ лѣсу родился смутный шумъ и шопотъ. Далеко, гдѣ-то въ чащѣ, застонала ночная птица. Туча ползла на лѣсъ чуть замѣтнымъ движеніемъ.

— Что же, Ефимъ, — не радъ встрѣчѣ? Или очень ужъ радъ? Эхъ ты... святая душа! Какъ былъ ты ребенкомъ, такъ и остался... Ефимъ? Да говори что ли, чудовище милое!

Ефимушка началъ усиленно сморкаться въ полу азяма...

— Ну, братъ! Ай, ай, ай! — укоризненно закачалъ головой арестантъ. — Что это ты? Стыдись! чай, тебѣ на пятый десятокъ годы идутъ, а ты этакимъ пустяковымъ дѣломъ занимаешься? Брось! — и онъ, обнявъ сотскаго за плечи, легонько потрясъ его. Сотскій засмѣялся дрожащимъ смѣхомъ и, наконецъ, заговорилъ, не глядя на своего сосѣда:

— Да развѣ я что?... Радъ я.. Такъ это вы и есть? Какъ мнѣ въ это повѣрить? Вы, и... такое дѣло! Витя... и въ этакомъ образѣ! Въ холодную... Пачпорту нѣтъ... Хлѣбомъ питаетесь... Табаку нѣтъ... Госпо-

ди— Вѣдь это развѣ порядокъ? Ежели бы это я былъ... а вы бы хоть сотскій... и то легче! А теперь что же вышло? Какъ мнѣ смотрѣть въ глаза вамъ? Я всегда про васъ съ радостью помнилъ... Витя, — думаешь, бывало... Такъ даже сердце защекочетъ. А теперь — на-ко! Господи... вѣдь это ежели людямъ разсказать — не повѣрять.

Онъ бормоталъ свои отрывистыя фразы, упорно глядя на свои ноги, и все хватался рукой то за грудь, то за горло.

— А ты людямъ про все это и не говори, не надо. И перестань... Насчетъ меня не безпокойся... Бумаги у меня есть, я не показалъ ихъ старостѣ, чтобы не узнали меня тутъ... Въ холодную меня братъ Иванъ не посадитъ, а, напротивъ, поможетъ мнѣ на ноги встать... Останусь я у него, и будемъ мы съ тобой снова на охоту ходить... Видишь, какъ хорошо все устраивается.

Витя говорилъ это ласково, тѣмъ тономъ, которымъ взрослые утѣшаютъ огорченныхъ дѣтей. Навстрѣчу тучѣ, изъ-за лѣса всходила луна, и края тучи, посребренные ея лучами, приняли мягкіе опаловые оттѣнки. Въ хлѣбахъ кричали перепела, гдѣ-то трещалъ коростель... Мгла ночи становилась все гуще.

— Это дѣйствительно... — тихо началъ Ефимушка, — Иванъ Александровичъ родному брату порадѣетъ и вы, значитъ, снова приспособитесь къ жизни. Это все такъ... И на охоту пойдемъ.. Только все не то... Я думалъ, вы какихъ дѣловъ въ жизни надѣлаете! А оно — вонъ что...

Витя Тучковъ засмѣялся.

— Я, братъ Ефимушка, надѣлалъ дѣловъ достаточно... Имѣніе, свою часть прожилъ, на службѣ не служилъ, былъ актеромъ, былъ приказчикомъ въ торговлѣ лѣсовъ, потомъ самъ держалъ актеровъ... потомъ прогорѣлъ до тла, всѣмъ задолжалъ, впутался въ одну исторію... эхъ! Всего было... И — все прошло!

Арестантъ махнулъ рукой и добродушно засмѣялся.

— Я, братъ Ефимушка, теперь ужъ не баринъ... вылѣчился отъ этого! Теперь мы съ тобой такъ заживемъ! а? да, ну! очнись!

— Я вѣдь ничего... — заговорилъ Ефимушка подавленнымъ голосомъ, — стыдно мнѣ только. Говорилъ я вамъ разное такое... несуразныя слова и вообще... Мужикъ, извѣстное дѣло... Такъ, говорите, заночуемъ тутъ? Я инъ костеръ разложу...

— Ну-ка, дѣйствуй!..

Арестантъ вытянулся на землѣ кверху грудью, а сотскій исчезъ въ опушкѣ лѣса, откуда тотчасъ же раздался трескъ сучьевъ и шорохъ. Скоро Ефимушка появился съ охапкой хвороста, а черезъ минуту по маленькому холмику изъ мелкихъ сучьевъ уже весело ползала змѣйка огня.

Старые товарищи задумчиво смотрѣли на нее, сидя другъ противъ друга и поочередно куря трубку.

— Совсѣмъ какъ тогда, — грустно говорилъ Ефимушка.

— Только времена не тѣ, — сказалъ Тучковъ.

— Н-да, жизнь-то стала круче характеромъ... Эвона какъ васъ.. обломала...

— Ну, это еще неизвѣстно — она меня или я ее... — усмѣхнулся Тучковъ.

Замолчали...

Сзади ихъ возвышалась темная стѣна тихо шептавшаго о чемъ-то лѣса, весело трещалъ костеръ, вокругъ него безшумно плясали тѣни и надъ полемъ лежала непроглядная тьма.

МАКАРЪ ЧУДРА.

Съ моря дулъ влажный и холодный вѣтеръ, разнося по степи задумчивую мелодію плеска набѣгавшей на берегъ волны и шелеста прибрежныхъ кустовъ. Изрѣдка его порывы приносили съ собою иззябшіе, сморщенные и желтые листья и бросали ихъ въ костеръ, раздувая пламя, отчего окружавшая насъ мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на мигъ слѣва—безграничную степь, справа—безконечное море и прямо противъ меня большую фигуру Макара Чудры, стараго цыгана, сторожившаго коней своего табора, раскинутаго шагахъ въ пятидесяти отъ насъ.

Не обращая ни малѣйшаго вниманія на то, что холодныя волны вѣтра, распахнувъ чекмень, обнажили его волосатую бронзовую грудь и безжалостно бьютъ ее, онъ полулежалъ въ красивой, свободно и сильной позѣ, лицомъ ко мнѣ, методически потягивалъ изъ своей громадной трубки, выпускалъ изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставивъ глаза куда-то черезъ мою голову въ мертво молчавшую темь степи, разговаривалъ со мной, не умолкая и не дѣлая ни одного движенія къ защитѣ отъ рѣзкихъ ударовъ вѣтра.

— Такъ ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбралъ себѣ, соколъ. Такъ и надо: ходи и смотри, насмотрѣлся, лягъ и умирай—вотъ и все!

— Жизнь? Иные люди?—продолжалъ онъ, скептически выслушавъ мое возраженіе на его «такъ и надо». —Эге! А тебѣ что до того? Развѣ ты самъ не жизнь? А другіе люди живутъ безъ тебя и проживутъ безъ тебя. Развѣ ты думаешь, что ты кому-то нуженъ? Ты не хлѣбъ и не палка, ну, и не нужно тебя никому.

— Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сдѣлать людей счастливыми? Нѣтъ, не можешь. Ты посѣдѣй сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякій знаетъ, что ему нужно. Которые умнѣе, тѣ берутъ, что есть, которые поглупѣе—тѣ ничего не получаютъ, и всякій самъ учится....

— Смѣшные они, тѣ твои люди. Сбились въ кучу и давятъ другъ друга, а мѣста на землѣ вонъ сколько,—онъ широко повелъ рукой на степь.—И все работаютъ. Зачѣмъ? Кому? Никто не знаетъ. Видишь, какъ человѣкъ пашетъ, и думаешь: вонъ онъ по каплѣ съ потомъ силы свои источитъ на землю, а потомъ ляжетъ въ нее и сгніетъ въ нее. Ничего по немъ не останется, ничего онъ не видитъ съ своего поля и умираетъ, какъ родился, дуракомъ.

— Что же, онъ родился затѣмъ, что ли, чтобы поковырять землю, да и умереть, не успѣвъ даже могилы самому себѣ выковырять? Вѣдома ему воля? Ширь степная понятна? Говоръ степной волны веселитъ ему сердце? Эге! Онъ рабъ—какъ только родился, и во всю жизнь рабъ, да и все тутъ! Что онъ съ собой можетъ сдѣлать? Только удавиться, коли поумнѣетъ немного.

— А я, вотъ, смотри, въ 58 лѣтъ столько видѣлъ, что коли написать все это на бумагѣ, такъ въ тысячу такихъ торбъ, какъ у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, въ какихъ краяхъ я не былъ? И не скажешь. Ты и не знаешь такихъ краевъ, гдѣ я

бывалъ. Такъ нужно жить: иди, иди и все тутъ. Долго не стой на одномъ мѣстѣ—чего въ немъ? Вонъ какъ день и ночь вѣчно бѣгутъ, гоняясь другъ за другомъ, вокругъ земли, такъ и ты бѣгай отъ думъ про жизнь, чтобъ не разлюбить ея. А задумаешься—разлюбишь жизнь, это всегда такъ бываетъ. И со мной это было. Эге! Было, соколъ.

— Въ тюрьмѣ я сидѣлъ, въ Галичинѣ. Зачѣмъ я живу на свѣтѣ?—помыслилъ я какъ-то разъ со скуки—скучно въ тюрьмѣ, соколъ, э, какъ скучно!—и взяла меня тоска за сердце, какъ посмотрѣлъ я изъ окна на поле, взяла и сжала его, какъ клещами. Кто скажетъ, зачѣмъ онъ живетъ? Никто не скажетъ, соколъ! И спрашивать тебя про это не надо. Живи, и все тутъ. И похаживай да посматривай кругомъ себя, вотъ и тоска не возьметъ никогда. Я тогда чуть не удавился поясомъ, вотъ какъ!

— Хе! Говорилъ я съ однимъ человѣкомъ. Строгій человѣкъ изъ нашихъ, русскихъ. Нужно, говоритъ онъ, жить не такъ, какъ ты самъ хочешь, а такъ, какъ сказано въ Божьемъ словѣ. Богу покоряться, и Онъ дастъ тебѣ все, что попросишь у Него. А самъ Онъ весь въ дыряхъ, рваный. Я и сказалъ ему, чтобы онъ себѣ новую одежду попросилъ у Бога. Разсердился онъ и прогналъ меня, ругаясь. А до того говорилъ, что надо прощать людей и любить ихъ. Вотъ бы и простилъ мнѣ, коли моя рѣчь обидѣла его милость. Тоже учитель! Учатъ они меньше ѣсть, а сами ѣдятъ по десять разъ въ сутки.

Онъ плюнулъ въ костеръ и замолчалъ, снова набивая трубку. Вѣтеръ вылъ о чемъ-то жалобно и тихо, во тьмѣ ржали кони и изъ табора плыла нѣжная и страстная пѣсня-думка. Это пѣла красавица Нонка, дочь Макара. Я зналъ ея голосъ густого грудного тембра, всегда какъ-то странно, недовольно и требовательно звучавшій—пѣла ли она пѣсню, говорила ли «здравствуй». На ея смугломъ, матовомъ лицѣ замерла надменность царицы, а въ подернутыхъ какой-то тѣнью темнокарыхъ глазахъ сверкало созна-

ніе неотразимости ея красоты и презрѣніе ко всему, что не она сама.

Макаръ подалъ мнѣ трубку.

— Кури! Хорошо поетъ дѣвка? То-то! Хотѣлъ ты, чтобъ такая тебя полюбила? Нѣтъ? Хорошо! Такъ и надо — не вѣрь дѣвкамъ и держись отъ нихъ дальше. Дѣвкѣ цѣловаться лучше и пріятнѣй, чѣмъ мнѣ трубку курить, а поцѣловать ее—и умерла воля въ твоемъ сердцѣ. Привяжетъ она тебя къ себѣ чѣмъ-то, чего не видно, а порвать нельзя, и отдашь ты ей всю душу. Вѣрно! Берегись дѣвокъ! Лгутъ всегда, гадюки. Люблю, говоритъ, больше всего на свѣ ѣ, а ну-ка, уколи ее булавкой, и она разорветъ тебѣ сердце. Знаю я! Эге, сколько я знаю! Ну, соколъ, хочешь скажу одну быль? А ты ее запомни и, какъ запомнишь, вѣкъ свой будешь свободной птицей.

«Былъ на свѣтѣ Зобаръ, молодый цыганъ, Лойко Зобаръ. Вся Венгрія и Чехія, и Славонія, и все, что кругомъ моря знало его, — удалый былъ малый! Не было по тѣмъ краямъ деревни, въ которой бы пятокъ-другой жителей не давалъ Богу клятвы убить Лойка, а онъ себѣ жилъ, и ужъ коли ему понравился конь, такъ хоть полкъ солдатъ поставъ сторожить того коня—все равно Зобаръ на немъ гарцовать станетъ! Эге! развѣ онъ кого боялся? Да приди къ нему сатана со всей своей свитой, такъ онъ бы, коли-бъ не пустилъ въ него ножа, то навѣрно бы крѣпко поругался, а что чертямъ подарилъ бы по пинку въ рыла—это ужъ какъ разъ!.

«И всѣ таборы его знали или слышали о немъ. Онъ любилъ только коней и ничего больше, и то не долго—поѣздитъ, да и продастъ, а деньги, кто хочетъ, тотъ и возьми. У него не было завѣтнаго — нужно тебѣ его сердце, онъ самъ бы вырвалъ его изъ груди да тебѣ и отдалъ, только бы тебѣ отъ того хорошо было. Вотъ онъ такой былъ, соколъ!

«Нашъ таборъ кочевалъ въ то время по Буковинѣ, — это годовъ 10 тому назадъ. Разъ [illegible] весенней, я помню было, сидимъ мы: я, Данило солдатъ, что съ Кошутомъ воевалъ вмѣстѣ, и Нуръ

старый, и всѣ другіе, и Радда, Данилова дочка.

«Ты Нонку мою знаешь? Царица-дѣвка! Ну, а Радду съ ней равнять нельзя — много чести Нонкѣ! О ней, этой Раддѣ, словами и не скажешь ничего. Можетъ быть, ея красоту можно бы на скрипкѣ сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, какъ свою душу, знаетъ.

«Много она посушила сердецъ молодецкихъ, ого, много! На Моравѣ одинъ магнатъ, старый, чубатый, увидалъ ее и остолбенѣлъ. Сидитъ на конѣ и смотритъ, дрожа, какъ въ огневицѣ. Красивъ онъ былъ, какъ чортъ въ праздникъ, жупанъ шитъ золотомъ, на боку сабля, какъ молнія сверкаетъ, чуть конь ногой топнетъ..... вся эта сабля въ камняхъ драгоцѣнныхъ, и голубой бархатъ на шапкѣ, точно неба кусокъ.—важный былъ господарь старый! Смотрѣлъ, смотрѣлъ, да и говоритъ Раддѣ:—Гей! Поцѣлуй, кошельде денегъ дамъ.—А та отвернулась въ сторону, да и только!—Прости, коли обидѣлъ, взгляни хоть по ласковѣй,—сразу сбавилъ спеси старый магнатъ и бросилъ къ ея ногамъ кошель—большой кошель, братъ!—А она его будто невзначай пнула въ грязь, да и все тутъ.

— Эхъ, дѣвка!—охнулъ онъ, да и плетью по коню—только пыль возвилась тучей.

«А на другой день снова явился.—Кто ея отецъ?—громомъ гремитъ по таборy. Данило вышелъ.—Продай дочь, что хочешь возьми!—А Данило и скажи ему:—Это только паны продаютъ все отъ своихъ свиней до своей совѣсти, а я съ Кошутомъ воевалъ и ничѣмъ не торгую!—Взревѣлъ было тотъ, да и за саблю, но кто-то изъ насъ сунулъ зажженный трутъ въ ухо коню, онъ и унесъ молодца. А мы снялись, да и пошли. День идетъ и два, смотримъ—догналъ!—Гей, вы, говоритъ, передъ Богомъ и вами моя совѣсть чиста, отдайте дѣвку въ жены мнѣ: все подѣлю съ вами, богатъ я сильно!—Горитъ весь и, какъ ковыль подъ вѣтромъ, качается въ сѣдлѣ. Мы задумались.

— «А ну-ка, дочь, говори! — сказалъ себѣ въ усы Данило.

— «Кабы орлица къ ворону въ гнѣздо по своей волѣ вошла, чѣмъ бы она стала? — спросила насъ Радда.

Засмѣялся Данило и мы всѣ съ нимъ.

— «Славно, дочка! Слышалъ, господарь? Не идетъ дѣло! Голубокъ ищи—тѣ податливѣй. И пошли мы впередъ.

«А тотъ господарь схватилъ шапку, бросилъ ее о земь и поскакалъ, поскакалъ такъ, что земля задрожала. Вотъ она какова была Радда, соколъ!

«Да, такъ вотъ разъ ночью сидимъ мы и слышимъ—музыка плыветъ по степи. Хорошая музыка! Кровь загорѣлась въ жилахъ отъ нея и звала она куда-то. Всѣмъ намъ, мы чуяли, отъ той музыки захотѣлось чего-то такого, послѣ чего бы и жить уже не нужно было, или, коли жить, такъ царями надъ все землей, — вотъ какая, соколъ!

«А она все ближе. Вотъ изъ темноты вырѣзался конь, а на немъ человѣкъ сидитъ и играетъ, подъѣзжая къ намъ. Остановился у костра, пересталъ играть и, улыбаясь, смотритъ на насъ:

— «Эге, Зобаръ, да это ты! — Крикнулъ ему Данило радостно. Такъ вотъ онъ, Лойко Зобаръ!

«Усы легли на плечи и смѣшались съ кудрями вороненой стали, очи, какъ ясныя звѣзды, горятъ, а улыбка—цѣлое солнце, ей-Богу! Точно его ковали изъ одного куска желѣза вмѣстѣ съ конемъ. Стоитъ весь, какъ въ крови, въ огнѣ костра и сверкаетъ зубами, смѣясь! Эге, будь я проклятъ, коли я его не любилъ уже, какъ себя, раньше, чѣмъ онъ мнѣ слово сказалъ или просто замѣтилъ, что ия тоже живу на бѣломъ свѣтѣ.

« Вотъ, соколъ, какіе люди бываютъ! Взглянетъ онъ тебѣ въ очи и полонитъ твою душу, и ничуть тебѣ это не стыдно, а еще и гордо для тебя. Съ такимъ человѣкомъ ты и самъ лучше становишься сразу же. Мало, другъ, такихъ людей! Ну, такъ и ладно, коли мало. Много хорошаго было бы на свѣтѣ, такъ его и за хорошее не считали бы. Такъ-то! А слышай-ка дальше.

«Радда и говоритъ:—Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это дѣлалъ тебѣ скрипку такую звонкую и чуткую?—А тотъ смѣется:—Я самъ дѣлалъ! И сдѣлалъ ее не изъ дерева, а изъ груди молодой дѣвушки, которую любилъ крѣпко, а струны изъ ея сердца мною свиты. Вретъ еще немного скрипка, ну да я умѣю смычокъ въ рукахъ держать исправно.

«Извѣстно, нашъ братъ старается сразу затуманить дѣвкѣ очи, чтобъ они не зажгли его сердца, а сами подернулись бы по тебѣ грустью, вотъ и Лойко тожъ. Но не на ту попалъ. Радда отвернулась въ сторону и, зѣвнувъ, сказала:—А еще говори, что Зобаръ уменъ и ловокъ—вотъ лгутъ люди!—и пошла прочь.

— Эге, красавица, у тебя остры зубы!—сверкнулъ очами Лойко, слѣзая съ коня.—Здравствуйте, братцы! Вотъ и я къ вамъ!

«Просимъ гостя! — сказалъ Данило въ отвѣтъ ему. Поцѣловались, поговорили и легли спать.. Крѣпко спали. На утро глядимъ,, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашибъ его копытомъ соннаго.

«Э, э, э! Поняли мы, кто тотъ конь, и улыбнулись въ усы, и Данило улыбнулся. Что-жъ, развѣ Лойко не стоитъ Радды? Ну, ужъ нѣтъ! Дѣвка какъ ни хороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пудъ золота повѣсъ ей на шею, все равно, лучше того, какова она есть, не быть ей. А ну, ладно!

«Живем мы, да живемъ на томъ свѣтѣ, дѣла у насъ о ту пору хорошія были, и Зобаръ съ нами. Это былъ товарищъ! И мудръ былъ, какъ старикъ, и свѣдущъ во всемъ, и грамоту русскую и венгерскую понималъ. Бывало, пойдетъ говорить—вѣкъ бы не спалъ, слушалъ его! А играетъ—убей меня громъ, коли на свѣтѣ еще кто нибудь такъ игралъ, какъ Зобаръ. Проведетъ, бывало по струнамъ смычкомъ— и вздрогнетъ у тебя сердце, проведетъ еще разъ и замретъ оно, слушая, а онъ играетъ и улыбается. И плакать, и смѣяться хотѣлось въ одно время, слушая

его пѣсни. Вотъ тебѣ сейчасъ кто-то стонетъ горько изъ подъ смычка, стонетъ, проситъ помощи и рѣжетъ тебѣ грудь какъ ножемъ. А вотъ степь говоритъ небу сказки, тихія, печальныя сказки. Плачетъ дѣвушка, провожая добра молодца. Добрый молодецъ кличетъ дѣвчину въ степь на свиданіе. И вдругъ — гей! Громомъ гремитъ вольная, живая пѣсня, и само солнце, того и гляди, затанцуетъ по небу подъ ту пѣсню! Вотъ такъ, соколъ!

«Каждая жила въ твоемъ тѣлѣ понимала ту пѣсню, и весь ты становился рабомъ ея. И коли бы тогда крикнулъ Лойко: «въ ножи, товарищи!» — то и пошли бы мы всѣ въ ножи, съ кѣмъ указалъ бы онъ. Все онъ могъ сдѣлать съ человѣкомъ: и всѣ любили его, крѣпко любили, только Радда одна не смотритъ на парня; и ладно, коли-бъ только это, а то еще и подсмѣивается надъ нимъ. Крѣпко она задѣла за сердце Зобара, то-то крѣпко! Зубами скрѣпитъ, дергая себя за усъ, Лойко, очи темнѣе бездны смотрятъ, а порой въ нихъ такое сверкаетъ что за душу страшно становится. Уйдетъ ночью въ степь далеко удалый Лойко и плачетъ до утра тамъ его скрипка, плачетъ, хоронитъ Зобарову волю. А мы лежимъ да слушаемъ, и думаемъ: какъ быть? И знаемъ, что коли два камня другъ на друга катятся, становится межъ ними нельзя — изувѣчатъ. Такъ и шло дѣло.

«Разъ сидѣли мы всѣ въ сборѣ и говорили о дѣлахъ. Скучно стало. Данило и проситъ Лойка: — Спой, Зобаръ, пѣсенку, повесели душу! — Тотъ повелъ окомъ на Радду, что неподалеку отъ него лежала кверху лицомъ да смотрѣла на небо, и ударилъ по струнамъ. Такъ и заговорила скрипка, точно это и вправду дѣвиче сердце было! И запѣлъ Лойко:

Гей-гопъ! Въ груди горитъ огонь,
А степь такъ широка!
Какъ вѣтеръ быстръ мой борзый конь,
Тверда моя рука!

«Повернула голову. Радда и, привставъ, усмѣхнулась въ очи пѣвуну. Вспыхнулъ, какъ заря, онъ.

Гей, гопъ-гей! Ну товарищъ мой!
Поскачемъ, что-ль, впередъ!?
Одѣта степь суровой мглой,
А тамъ разсвѣтъ насъ ждетъ!
Гей-гопъ! Летимъ и встрѣтимъ день.
Взвивайся въ вышину!
Да только гривой не задѣнь
Красавицу луну!.

«Вотъ пѣлъ! Никто ужъ такъ не поетъ теперь! А Радда и говоритъ, точно воду цѣдитъ:

— «Ты бы не залеталъ такъ высоко, Лойко, неравно упадешь, да въ лужу носомъ, усы запачкаешь, смотри. Звѣремъ посмотрѣлъ на нее Лойко, а ничего не сказалъ — стерпѣлъ парень и поетъ себѣ:

Гей-гопъ! Вдругъ день придетъ сюда,
А мы съ тобою спимъ,
Эй, гей! Вѣдь мы съ тобой тогда
Въ огнѣ стыда сгоримъ!

— «Это пѣсня! — сказалъ Данило, - никогда не слыхалъ такой пѣсни: пусть изъ меня сатана себѣ трубку сдѣлаетъ, коли вру я! — Старый Нуръ и усами поводилъ, и плечами пожималъ, и всѣмъ намъ по душѣ была удалая Зобарова пѣсня! Только Раддѣ не понравилась.

— «Вотъ такъ однажды комаръ гудѣлъ, орлиный клекотъ передразнивая, — сказала она, точно снѣгомъ въ насъ кинула.

— «Можетъ быть, ты, Радда, кнута хочешь? — потянулся Данило къ ней, а Зобаръ бросилъ на земь шапку, да и говоритъ, весь черный какъ земля:

— «Стой, Данило! Горячему коню—стальныя удила! Отдай мнѣ дочку въ жены!

— «Вотъ сказалъ рѣчь! — усмѣхнулся Данило. — да возьми, коли можешь!

— «Добро!—молвилъ Лойко и говоритъ Раддѣ:

— «Ну, дѣвушка, послушай меня немного, да не кичись! Много я вашей сестры видѣлъ, эге много! А ни одна не тронула моего сердца такъ, какъ ты. Эхъ, Радда, полонила ты мою душу! Ну что-жъ?

Чему быть, такъ то и будетъ, и..... нѣтъ такого коня, на которомъ отъ самого себя ускакать можно-бъ было!..... Беру тебя въ жены передъ Богомъ, своей честью, твоимъ отцомъ и всѣми этими людьми. Но смотри, волѣ моей не перечь, — я все-таки свободный человѣкъ и буду жить такъ, какъ я хочу! — и онъ подошелъ къ ней, стиснувъ зубы и сверкая глазами. Смотримъ мы, протянулъ онъ ей руку, — вотъ, думаемъ, и надѣла узду на степного коня Радда! Вдругъ видимъ, взмахнулъ онъ руками и о земь затылкомъ грохъ!.....

«Что за диво? Точно буря ударила въ сердце малаго. А это Радда захлестнула ему ременное кнутовище за ноги да и дернула къ себѣ, — вотъ отчего упалъ Лойко.

«И снова ужъ лежитъ дѣвка, не шевелясь, да усмѣхается, молча. Мы смотримъ, что будетъ, а Лойко сидитъ на землѣ и сжалъ руками голову, точно боится, что она у него лопнетъ. А потомъ всталъ тихо, да и пошелъ въ степь, ни на кого не глядя. Нутъ шепнулъ жнѣ: — Смотри за нимъ! — И поползъ я за Зобаромъ по степи въ темнотѣ ночной. Такъ-то, соколъ!»

Макаръ выколотилъ пепелъ изъ трубки и снова сталъ набивать ее. Я закутался плотнѣе въ чекмень и, лежа, смотрѣлъ въ его старое лицо, черное отъ загара и вѣтра. Онъ сурово и строго качалъ головой и что-то шопталъ про себя; густые сѣдые усы шевелились, и вѣтеръ трепалъ ему волосы на головѣ. Онъ былъ похожъ на старый дубъ, обожженый молнѣей, но все еще мощный, крѣпкій и гордый силой своей. Море шепталось по прежнему съ берегомъ, и вѣтеръ все такъ же носилъ его шопотъ по степи. Ночка уже не пѣла, а собравшіяся на небѣ тучи сдѣлали осеннюю ночь еще темнѣй.

«Шелъ Лойко нога за ногу, повѣся голову и опустивъ руки, какъ плети, и, придя въ балку къ ручью, сѣлъ на камень и охнулъ. Такъ охнулъ, что у меня сердце кровью облилось отъ жалости, но

все-жъ не подошелъ къ нему. Словомъ горю не поможешь—вѣрно?! То-то! Часъ онъ сидитъ, другой сидитъ и третій не шелохнется—сидитъ.

«Я и лежу неподалеку. Ночь свѣтлая. Мѣсяцъ серебромъ всю степъ залилъ, и далеко все видно.

«Вдругъ вижу: отъ табора спѣшно Радда идетъ.

Весело мнѣ стало; эхъ, важно! — думаю, — удалая дѣвка Радда! Вотъ она подошла къ нему, онъ и не слышитъ. Положила ему руку на плечо; вздрогнулъ Лойко, разжалъ руки и поднялъ голову. И какъ вскочитъ, да за ножъ! Ухъ, порѣжетъ дѣвку, вижу я, и ужъ хотѣлъ, крикнувъ до табора, побѣжать къ нимъ, вдругъ слышу:

— «Брось! Голову разобью! — Смотрю: у Радды въ рукѣ пистоль и она въ лобъ Зобару цѣлитъ. Вотъ сатана дѣвка! А ну, думаю, они теперь равны по силѣ, что будетъ дальше?

— «Слушай! — Радда заткнула за поясъ пистоль и говоритъ Зобару:—Я не убить тебя пришла, а мириться, бросай ножъ! Тотъ бросилъ и хмуро смотритъ ей въ очи. Дивно это было, братъ! Стоятъ два человѣка и звѣрями смотрятъ другъ на друга, а оба такіе хорошіе, удалые люди. Смотритъ на нихъ ясный мѣсяцъ да я,—и все тутъ.

— «Ну, слушай меня, Лойко: я тебя люблю!— говоритъ Радда. Тотъ только плечами повелъ, точно связанный по рукамъ и ногамъ.

— «Видала я молодцевъ, а ты удалѣй и краше ихъ душой и лицомъ. Каждый изъ нихъ усы себѣ бы сбрилъ—моргни я ему глазомъ, всѣ они пали бы мнѣ въ ноги, захоти я того. Но что толку? Они и такъ не больно-то удалы, а я бы ихъ всѣхъ обабила. Мало осталось на свѣтѣ удалыхъ цыганъ, мало, Лойко. Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чѣмъ тебя. А безъ тебя мнѣ не жить, какъ не жить и тебѣ безъ меня. Такъ вотъ я хочу, что-бъ ты былъ моимъ и душой, и тѣломъ, слышишь?— Тотъ усмѣхнулся.

— «Слышу! Весело сердцу слышать твою рѣчь! Ну-ка, скажи еще!

— «А еще вотъ что, Лойко: все равно, какъ ты

ни вертись, я тебя одолѣю, моимъ будешь. Такъ не теряй же даромъ времени—впереди тебя ждутъ мои поцѣлуи да ласки......... крѣпко цѣловать я тебя буду, Лойко! Подъ поцѣлуй мой позабудешь ты свою удалую жизнь.... и живыя пѣсни твои, что такъ радуютъ молодцовъ цыганъ, не зазвучатъ по степямъ больше — нѣтъ ты ужъ будешь любовныя, нѣжныя пѣсни мнѣ, твоей Раддѣ... Такъ не теряй даромъ времени, — сказала я это, значитъ, ты завтра покоришься мнѣ, какъ старшему товарищу юнаку. Поклонишься мнѣ въ ноги передъ всѣмъ таборомъ и поцѣлуешь правую руку мою—и тогда я буду твоей женой.

«Вотъ чего захотѣла чортова дѣвка! Этого и слыхомъ не слыхано было: только встарину у черногорцевъ такъ было, говорили старики, а у цыганъ — никогда! Побратимство съ дѣвкой! Ну-ка, соколъ, выдумай что ни то посмѣшнѣе? Годъ поломаешь голову, не выдумаешь!

«Прянулъ въ сторону Лойко и крикнулъ на всю степь, какъ раненый въ грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя.

— «Ну, такъ прощай до завтра, а завтра ты сдѣлаешь, что велѣла тебѣ. Слышишь, Лойко?

— «Слышу! Сдѣлаю,—застоналъ Зобаръ и протянулъ къ ней руку. Она и не оглянулась на него, а онъ зашатался, какъ сломанное вѣтромъ дерево, и палъ на землю, рыдая и смѣясь.

«Вотъ какъ замаяла молодца проклятая Радда.

Насилу я привелъ его къ себя.

«Эхе! Какому дьяволу нужно, чтобы люди горе

горевали? Кто это любитъ слушать, какъ стонетъ, разрываясь отъ горя, человѣческое сердце? Вотъ и думай тутъ!.....

«Воротился я въ таборъ и разсказалъ о всемъ старикамъ. Подумали и рѣшили подождать да посмотрѣть—что будетъ изъ всего этого. А было вотъ что. Когда собрались всѣ мы вечеромъ вокругъ костра, пришелъ и Лойко. Былъ онъ смущенъ и похудѣлъ за ночь страшно, глаза ввалились; онъ опустилъ ихъ въ землю и, не подымая, сказалъ намъ:

— «Вотъ какое дѣло, товарищи: смотрѣлъ въ свое сердце этой ночью и не нашелъ мѣста въ немъ старой вольной жизни моей. Радда тамъ живетъ только — и все тутъ! Вотъ она, красавица Радда, улыбается, какъ царица! Она любитъ свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли и рѣшилъ я Раддѣ поклониться въ ноги,—такъ она велѣла, чтобъ всѣ видѣли, какъ ея красота покорила удалаго Лойку Зобара, который до нея игралъ съ дѣвушками, какъ кречетъ съ утками, а потомъ она станетъ моей женой и будетъ ласкать и цѣловать меня, такъ что уже мнѣ и пѣсень пѣть вамъ не захочется, и воли моей я не пожалѣю! Такъ ли, Радда?— Онъ поднялъ глаза и сумно смотрѣлъ на нее. Она молчала и строго кивнула головой и рукой указала себѣ на ноги. А мы смотрѣли и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотѣлось, лишь бы не видать, какъ Лойко Зобаръ упалетъ въ ноги дѣвкѣ—пусть эта дѣвка и сама Радда. Стыдно было чего-то и жалко, и грустно.

— «Ну! — [illegible] Зобару.

— «Эге не [illegible]..

[illegible] засмѣялся [illegible] засмѣялся.

— «Такъ вотъ и все дѣло, товарищи! Что остается? А остается попробовать, какое ли у Радды моей крѣпкое сердце, какимъ она мнѣ его показывала. Попробуй же,—простите меня, братцы!

«Мы и догадаться еще не успѣли, что хочетъ дѣлать Зобаръ, а ужъ Радда лежала на землѣ и въ груди у нея по рукоять торчалъ кривой ножъ Зобара. Оцѣпенѣли мы.

«А Радда вырвала ножъ, бросила его въ сторону и, зажавъ рану прядью своихъ черныхъ волосъ, улыбаясь, сказала громко и внятно:

— «Прощай, Лойко! Я знала, что ты такъ сдѣлаешь!....— да и умерла..... .

«Понялъ ли дѣвку, соколъ?! Вотъ какая, будь я проклятъ на вѣки вѣчные, дьявольская дѣвка была!

«Эхъ! и поклонюсь же я тебѣ въ н королева гордая! — на всю степь гаркнулъ Лойко да, бросившись на земь, прильнулъ устами къ ногамъ мертвой Радды и замеръ. Мы сняли шапки и стояли молча.

«Что скажешь въ такомъ дѣлѣ, соколъ? То-то! Нуръ сказалъ было: «надо связать его!» Не поднялись бы руки вязать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы, и Нуръ зналъ это. Махнулъ онъ рукой, да и отошелъ въ сторону. А Данило поднялъ ножъ, брошенной въ сторону Раддой, и долго смотрѣл на него, шевеля сѣдыми усами, на томъ ножѣ еще не застыла кровь Радды, и былъ онъ такой кривой и острый. А потомъ подошелъ Данило къ Зобару и сунулъ ему ножъ въ спину какъ разъ противъ серд-

ца. Тожъ отцомъ былъ Раддѣ старый солдатъ Данило!

— «Вотъ такъ!—повернувшись къ Данилѣ, ясно сказалъ Лойко и ушелъ догонять Радду.

«А мы смотрѣли. Лежала Радда, прижавъ къ груди руку съ прядью волосъ, и открытые глаза ея были въ голубомъ небѣ, а у ногъ ея раскинулся удалой Лойко Зобаръ. На лицо его пали кудри и не видно было его лица.

«Стояли мы и думали. Дрожали усы у стараго Данилы, и насупились густыя усы его. Онъ глядѣлъ въ небо и молчалъ, а Нуръ, сѣдой какъ лунь, легъ внизъ лицомъ на землю и заплакалъ такъ, что ходуномъ заходили его стариковскія плечи.

«Было тутъ надъ чѣмъ плакать, соколъ! Такъ-то!

«Идешь ты, ну иди твоимъ путемъ, не сворачивая въ сторону. Прямо и иди. Можетъ, и не загинешь даромъ. Вотъ и все, соколъ!»

Макаръ замолчалъ и, спрятавъ въ кисетъ трубку, запахнулъ на груди чекмень. Накрапывалъ дождь, вѣтеръ сталъ сильнѣе, и море рокотало глухо и сердито. Одинъ за другимъ къ угасавшему костру подходили кони и, осмотрѣвъ насъ большими, умными глазами, неподвижно останавливались, окружая насъ плотнымъ кольцомъ.

— Гопъ, гопъ, эгой! — крикнулъ имъ ласкаво Макаръ и, похлопавъ ладонью шею своего любимаго вороного коня, сказалъ, обращаясь ко мнѣ:

— Спать пора! — Потомъ завернулся съ головой въ чекмень и, могуче вытянувшись на землѣ, умолкъ. Мнѣ не хотѣлось спать. Я смотрѣлъ въ тьму степи, и въ воздухѣ передъ моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку съ прядью черныхъ волосъ къ ранѣ на груди, и сквозь ея смуглые, тонкіе пальцы сочилась капля по каплѣ кровь, падая на землю огненно-красными звѣздочками.

А за ней по пятамъ плылъ удалой молодецъ Лойко Зобаръ; его лицо завѣсили пряди густыхъ черныхъ кудрей, и изъ-подъ нихъ капали частыя, холодныя и крупныя слезы....

Усиливался дождь, и море распѣвало мрачный и торжественный гимнъ гордой парѣ красавцевъ цыганъ — Лойко Зобару и Раддѣ, дочери стараго солдата Данилы.

А они оба кружились во тьмѣ ночи плавно и безмолвно, и никакъ не могъ красавецъ-пѣвунъ Лойко поравняться съ гордой Раддой.



НОВЫЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ

А. Н. Толстого.

БЛАГОРОДНАЯ ПОЧВА.

(Изъ дневника.)

БЛАГОДАРНАЯ ПОЧВА.

Опять живу у моего друга Черткова въ Московской губерніи. Гощу по той же причинѣ, по которой мы съѣзжались съ нимъ на границѣ Орловской и я годъ тому назадъ пріѣзжалъ въ Московскую . Причина та, что черта осѣдлости для Черткова — весь земной шаръ, кромѣ Тульской губерніи. Вотъ я и выѣзжаю на разные концы этой губерніи, чтобы видѣться съ нимъ.

Выхожу въ 8-мъ часу на обычную прогулку. Жаркій день. Сначала иду по жесткой, глинистой дорогѣ мимо акаціи, готовящейся уже трещать и выбрасывать свои сѣмена; потомъ мимо начинающей желтѣть ржи со своими чудными, все еще свѣжими

васильками; выхожу въ черное, почти все уже запаханное, паровое поле; направо пашетъ старикъ въ бахилкахъ, сохой и на плохой худой лошади, и слышу сердитое старинное: «Вылѣзь!» съ особеннымъ удареніемъ на второмъ слогѣ. И изрѣдка: «У. дьяволъ!» и опять: «Вылѣзь... Дьяволъ!»! Хотѣлъ говорить съ нимъ, но когда я проходилъ мимо его борозды, онъ былъ на противоположномъ концѣ полосы. Иду дальше. Впереди — другой пахарь. Съ этимъ должно быть, сойдусь, когда онъ будетъ подходить къ дорогѣ. Коли сойдусь, то и поговорю съ нимъ, если придется,—думаю я. И какъ разъ встрѣчаемся съ нимъ у доргои. Этотъ пашетъ плугомъ на крупной, рыжей лошади, молодой, красиво сложенный милый; одѣтъ хорошо, въ сапогахъ, ласкаво отвѣчаетъ на мой привѣтъ: «Богъ на помощь».

Плугъ плохо беретъ на катанную дорогу; онъ переѣзжаетъ ее и останавливается:

— Что же, лучше сохой?

— Какъ же, много легче.

— А давно завелъ?

— Недавно, да вотъ украли-было.

— Какъ же нашли?

— Нашли, своей же деревни.

— Что же, и въ судъ подали?

— А то какъ же.

— Зачѣмъ же подавать, когда плугъ нашелся?

— Да вѣдь воръ.

—Что же, человѣкъ посидитъ въ острогѣ, хуже воровать научится.

Серьезно и внимательно смотритъ на меня, очевидно, не отвѣчая ни согласіемъ, ни отрицаніемъ на новую для него мысль.

Свѣжее, здоровое, умное лицо съ чуть пробивающимися волосами на бородѣ и верхней губѣ, съ умными сѣрыми глазами.

Онъ оставилъ плугъ, очевидно желая отохнуть и не прочь поговорить. Я взялся за ручки плуга и тронулъ потную, сытую, рослую кобылу. Кобыла влегла въ хомутъ, и

я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ. Но я не удержалъ плуга, онъ выскочилъ, и я остановилъ лошадь.

— Нѣтъ, вы не можете.

— Только тебѣ борозду испортилъ.

— Это ничего, справлю.

Онъ осадилъ лошадь, чтобы взять пропущенное мною, но не сталъ пахать.

— На солнцѣ жарко, пойдемъ въ кустахъ посидимъ, — пригласилъ онъ, указывая на лѣсокъ вплоть у конца полосы..

Мы перешли въ тѣнь молодыхъ березокъ. Онъ сѣлъ на землю, я остановился противъ него.

— Изъ какой деревни?

— Изъ Ботвиньина.

— Далече?

— Вотъ маячитъ на горкѣ.—И онъ показалъ мнѣ.

— Что же такъ далеко от дома пашеь?

— Да это не моя, здѣшняго мужика, я нанялся.

— Какъ нанялся, на лѣто?

— Нѣ, посѣять нанялся, вспахать, передвоить, все какъ должно.

— Что же, у него земли много?

— Да мѣръ 20 высѣваетъ

— Вотъ какъ! А лошадь это твоя? Хорошая лошадь.

— Да, кобыла ничего,—говоритъ онъ спокойной гордостью.

Кобыла дѣйствительно такая по ладамъ, росту и сытости, какихъ рѣдко видишь у крестьянъ.

— Вѣрно, живешь въ людяхъ, извозомъ занимаешься?

— Нѣ, дома, одинъ и хозяинъ.

— Такой молодой?

— Да я съ семи лѣтъ безъ отца остался; братъ въ Москвѣ живетъ, на фабрикѣ. Сначала сестра помогала, тоже на фабрикѣ жила, а съ 14-ти лѣтъ какъ есть одинъ, во всѣ дѣла, и работалъ, и наживалъ,—сказалъ онъ со спокойнымъ сознанiемъ своего достоинства.

— Женатъ?

— Нѣтъ.

— Такъ кто же у тебя по домашности?

— А матушка.

— А корова есть?

— Коровъ двѣ.

— Вотъ какъ! Сколько же тебѣ лѣтъ? — спросилъ я.

— Восемнадцать, — отвѣчалъ онъ, чуть улыбаясь, понимая, что меня занимало то, что онъ, такой молодой, такъ могъ устроиться. И это, очень видно, было ему пріятно.

— Какой еще молодой! — сказалъ я. — Что же, и въ солдаты придется?

— Какъ же, лобовой,—сказалъ онъ съ тѣмъ спокойнымъ выраженіемъ, съ которымъ говорятъ про старость, про смерть, вообще про то, о чемъ разсуждать нечего, потому что оно неотвратимо.

Разговоръ нашъ, какъ и всегда въ наше время съ крестьянами, коснулся земли, и онъ, описывая свою жизнь, сказалъ, что земли мало, что если бы не работалъ гдѣ

пѣшій, гдѣ на лошади, то и кормиться бы нечѣмъ. Но разсказываетъ онъ все это съ веселымъ, радостнымъ и гордымъ самодовольствіемъ. Повторилъ еще разъ, что остался одинъ хозяиномъ съ 14-ти лѣтъ и все одинъ заработалъ.

— Ну, а вино пьешь?

Очевидно, ему непріятно было сказать, что пьетъ, но онъ не хочетъ сказать неправду.

— Пью,—сказалъ онъ тихо, пожимая плечами.

— А грамотѣ знаешь?
— Хорошо знаю.
— Что же, не читалъ книгъ о винѣ?
— Нѣтъ, не читалъ.
— Что же, а лучше бы не пить совсѣмъ.
— Извѣстно, добра отъ того не мало.
— Такъ и бросить бы.

Онъ молчитъ, и видно, что понимаетъ и думаетъ.

— Вѣдь можно,—говорю я,—а какъ хорошо бы! Вотъ я третьяго дня ѣздилъ въ Ивино; только подъѣзжаю къ одному двору, а хозяинъ здоровается со мной и называ-

етъ меня по имени-отечеству. Выходитъ, что 12 лѣтъ тому назадъ мы видѣлись съ нимъ. Это—Кузинъ, знаешь?

— Какъ же, Сергѣй Тимоѳеевичъ.

И я разсказываю ему, какъ съ этимъ Кузинымъ 12 лѣтъ тому назадъ мы устроили Общество трезвости, и съ тѣхъ поръ онъ, Кузинъ, хотя и пилъ прежде, пересталъ пить совсѣмъ.

— Ивотъ теперь Кузинъ говорилъ мнѣ, что только радуется тому, что отсталъ отъ этой пакости,—сказалъ я.—И живетъ, видно, очень исправно. И домъ, и все заведенье. А не брось онъ пить, можетъ и совсѣмъ не то бы было.

— Да, это точно.

— Такъ вотъ и тебѣ бы такъ. Такой ты малый хорошій, къ чему тебѣ вино пить, коли самъ говоришь, что отъ него никакой пользы нѣтъ. Брось и ты, и какъ хорошо будетъ!

Онъ молчитъ и во всѣ глаза смотритъ на меня. Я собираюсь уходить и подаю ему руку.

— Право, брось, вотъ съ этого раза! Вотъ бы хорошо было.

Онъ сильной рукой сжимаетъ мою руку и, очень видно, въ этомъ рукопожатіи видитъ вызовъ на обѣщаніе.

— Ну, что же, можно, — совершенно неожиданно, какъ-то весело и рѣшительно говоритъ онъ.

— Неужели обѣщаешь? — говорю я съ удивленіемъ.

— А то что жъ, обѣщаю, — говоритъ онъ, кивая головой и чуть улыбаясь.

И по спокойному звуку его голоса, по серьезному, внимательному лицу видно, что это—не шутка и что онъ точно обѣщаетъ и точно хочетъ исполнить то, что обѣщаетъ.

Отъ старости или отъ болѣзни, или отъ того и другого вмѣстѣ, я сталъ слабъ на слезы умиленія, радости. Простыя слова этого милаго, твердаго, сильнаго человѣка, такого, очевидно, готоваго на все доброе и такого одинокаго, такъ тронули меня, что я отошелъ отъ него, отъ волненія не въ силахъ выговорить ни слова.

Когда я оправился, отойдя нѣсколько шаговъ, я повернулся къ нему и сказалъ (я передъ этимъ спросилъ, какъ его зовутъ):

— Такъ смотри же, Александръ: не давши слова — крѣпись, а давши слово — держись.

— Да ужъ это какъ есть, вѣрно будетъ.

Рѣдко приходится испытывать болѣе радостное чувство, чѣмъ то, которое я испытовалъ, отходя отъ него. Я забылъ сказать, что, разговаривая съ нимъ, я предложилъ дать ему листковъ противъ пьянства и книжекъ,—тѣхъ листковъ противъ пьянства, изъ которыхъ одинъ былъ приклеенъ въ сосѣдней деревнѣ хозяиномъ къ наружной стѣнѣ и былъ сорванъ и уничтоженъ урядникомъ.

Онъ поблагодарилъ и сказалъ, что зайдетъ въ обѣдъ. Въ обѣдъ онъ не зашелъ и, —грѣшный человѣкъ, — мнѣ пришло въ голову, что весь разговоръ нашъ не былъ для него такъ важенъ, какъ мнѣ показалось, и что ему и не нужно книгъ, и что вообще я приписалъ ему то, чего въ немъ не было. Но вечеромъ онъ пришелъ, весь потный отъ работы и перехода. Отработавъ до вечера,

доѣхалъ домой, отпрягъ плугъ, убралъ лошадь и за четыре версты, бодрый, веселый, пришелъ ко мнѣ за книгами.

Я съ гостями сидѣлъ на великолѣпной террасѣ, передъ разбитыми клумбами, съ урнами среди цвѣточныхъ горокъ, вообще среди той роскошной обстановкѣ, за которую всегда стыдно передъ людьми рабочаго народа, когда вступаешь съ ними въ человѣческія сношенія.

Я вышелъ къ нему и первымъ дѣломъ повторилъ вопросъ: «Не раздумалъ ли, вѣрно ли будешь держать обѣщаніе?».

Опять съ той же доброй улыбкой онъ сказалъ:

— А то какъ же, я и матушкѣ сказалъ. Она рада, благодаритъ васъ.

За ухомъ у него я увидалъ бумажку.

— А куришь?

— Курю, — сказалъ онъ, очевидно, ожидая, что я буду уговаривать его и это брось. Но я не сталъ. Онъ помолчалъ и по какой-то странной связи мыслей, — связь

эта, я думаю, была въ томъ, что, видя во мнѣ сочувствіе къ своей жизни, онъ хотѣлъ сообщить мнѣ то важное событіе, которое ожидало его осенью. — А я вамъ не сказывалъ: меня уже сосватали. — И онъ улыбнулся, вопросительно глядя мнѣ въ глаза.—Осенью.

— Вотъ какъ! Хорошее дѣло. Гдѣ берете?

— Онъ сказалъ.

— Съ приданымъ?

— Нѣтъ, какое приданое! Дѣвушка хорошая.

И мнѣ пришло въ голову сдѣлать ему тотъ вопросъ, который всегда занимаетъ меня, когда имѣешь дѣло съ хорошими молодыми людьми нашего времени.

— А что, — спросилъ я, — ужъ ты прости меня, что я тебя спрашиваю, но, пожалуйста, скажи правду; или не отвѣчай, или всю правду скажи.

Онъ уставилъ на меня спокойный, внимательный взглядъ.

— Отчего же не сказать.

— Имѣлъ ты грѣхъ съ женщиной?

Ни минуты не колеблясь, онъ просто отвѣчалъ:

— Помилуй Богъ! Не было этого.

— Вотъ и хорошо, очень хорошо,—сказалъ я. — Радуюсь за тебя.

Говорить больше было сейчасъ нечего.

— Ну, такъ вотъ я вынесу тебѣ сейчасъ книжку, и помагай тебѣ Богъ.

И мы простились.

Да, какая чудная для посѣва земля, какая воспріимчивая! И какой ужасный грѣхъ бросать въ нее сѣмена лжи, насилія, пьянства, разврата!

Да, какая чудная земля не переставая паруетъ, дожидаясь сѣмени, и зарастаетъ сорными травами!

Мы же, имѣющіе возможность отдать этому народу хоть что-нибудь изъ того, что мы не переставая беремъ отъ него, — что мы даемъ ему?

Аэропланы, дрэдноуты и всѣ тѣ ненужныя глупости, которыя мы называемъ наукой и искусствомъ. И главное, — примѣръ

пустой, безнравственной, преступной жизни. Да еще хорошо, если бы мы за то, что берем Да еще хорошо, если бы мы за то, что беремъ ные, глупые и дурные примѣры. А то, вмѣсто уплаты хоть части своего неоплатнаго долга передъ нимъ, мы засѣваемъ эту, алчущую истиннаго знанія, землю одними «терніями и волчцами», запутываемъ этихъ милыхъ, открытыхъ на все доброе, чистое, какъ дѣти, людей коварными, умышленными обманами.

Да, «горе міру отъ соблазновъ, ибо надобно придти соблазнамъ; но горе тому человѣку, черезъ кого соблазнъ приходитъ».

Левъ Толстой.

ТОВАРИЩИ.

Горячее солнце іюля ослѣпительно блестѣло надъ Смолкиной, обливая ея старыя избы щедрымъ потокомъ яркихъ лучей. Особенно много солнца было на крышѣ старостиной избы, недавно перекрытой заново гладко выстроганнымъ тесомъ, желтымъ и пахучимъ. Было воскресенье, и почти все населеніе деревни вышло на улицу, густо поросшую травой и усѣянную кочками засохшей грязи. Передъ старостиной избой собралась большая группа мужиковъ и бабъ: иные сидѣли на завалинѣ избы, иные прямо на землѣ, другіе стояли, среди нихъ гонялись другъ за другомъ ребятишки, то и дѣло получая отъ взрослыхъ сердитые окрики и щелчки.

Центромъ толпы служилъ высокій человѣкъ съ большими, опущенными внизъ усами. По его коричневому лицу, покрытому густой сивой щетиной и сѣтью глубокихъ морщинъ, по сѣдымъ клочьямъ волосъ, выбившихся изъ подъ грязной соломенной шляпы, — этому человѣку можно было дать лѣтъ пятьдесятъ. Онъ смотрѣлъ на землю, и ноздри его большого, хрящеватаго носа вздрагивали, а когда онъ поднималъ голову, бросая взглядъ на окна старостиной избы, видны были его глаза большіе, печальные, даже мрачные, — они глубоко вваливались въ орбиты, а густыя брови кидали отъ себя тѣнь на темныя зрачки. Одѣтъ онъ былъ въ коричневый, рваный подрясникъ монастырскаго послушника, едва закрывавшій ему колѣни и подпоясанный веревкой. За спиной у него была котомка, въ правой рукѣ длинная палка съ желѣзнымъ наконечникомъ, лѣвую онъ держалъ за пазухой. кружавшіе осматривали его подозрительно, насмѣшливо, съ презрѣніемъ и, наконецъ, съ явной радостью, что имъ удалось поймать волка раньше, чѣмъ онъ успѣлъ нанести вредъ ихъ стаду. Онъ проходилъ черезъ деревню и, подойдя къ окну старосты, попросилъ напиться. Староста далъ ему квасу и заговорилъ съ нимъ. Но прохожій отвѣчалъ, про-

тивъ обыкновенія странниковъ, очень неохотно. Староста спросилъ у него документы, а документа не оказалось. И прохожаго задержали, рѣшивъ отправить въ волость. Староста выбралъ въ конвоиры ему сотскаго и теперь, въ избѣ у себя, напутствовалъ его, оставивъ арестанта среди толпы, потѣшающейся надъ нимъ.

Арестантъ, какъ былъ остановленъ у ствола ветлы, такъ и стоялъ, прислонясь къ нему своей сутулой спиной.

Но вотъ на крыльцѣ избы явился подслѣповатый старикъ съ лисьимъ лицомъ и сѣдой, клинообразной бородкой. Онъ степенно опускалъ ноги въ сапогахъ со ступени на ступень, и круглый его животикъ солидно колыхался подъ длинной ситцевой рубахой. А изъ-за его плеча высовывалось бородатое четырехугольное лицо сотскаго.

— Понялъ, Ефимушка? — спросилъ староста у сотскаго.

— Чего тутъ не понять? Все понялъ. Обязанъ, значитъ, я проводить этого человѣка къ становому и— больше никакихъ! — проговоривъ свою рѣчь раздѣльно и съ комической важностью, сотскій подвигнулъ публикѣ.

— А бумага?

— А бумага — она за пазухой у меня живетъ.

— Ну то-то—вразумительно сказалъ староста и добавилъ. крѣпко почесавъ себѣ бокъ:

Съ Богомъ, значитъ, айдайте!

— Пошли! Шагаемъ что ли, отче? — улыбнулся сотскій арестанту.

— Вы бы хоть подводу дали,—глухо отвѣтилъ тотъ на предложеніе сотскаго. Староста ухмыльнулся.

— Подво-оду? Ишь-ты! Вашего брата, проходимца, много тутъ шныряетъ по полямъ, по деревнямъ..... лошадей про всѣхъ не хватитъ. Прошагаешь и пѣхтурой. Такъ-то!

— Ничего, отецъ, идемъ! — ободряюще заговорилъ сотскій. — Ты думаешь далече намъ? Дай Богъ, два десятка верстъ! Да, поди-ка, не будетъ. Мы съ тобой, отче, живо докатимъ. А тамъ ты и отдохнешь...

— Въ холодной, — пояснилъ староста.

— Это ничего, — торопливо заявилъ сотскій.... —человѣку, который ежели усталъ, и въ тюрьмѣ отдыхъ. А потомъ — холодная-то—она прохладная...... послѣ жаркаго дня—въ ней куда хорошо!

Арестантъ сурово оглянулъ своего конвоира — тотъ улыбался весело и открыто.

— Ну-ка, айда, отецъ честный! Прощай, Висиль Гаврилычъ! Пошли!

— Съ Господомъ, Ефимушка!..... Смотри въ оба.

— А зри въ три!—подкинулъ сотскому какой-то молодой парень изъ толпы.

— Н-ну! Малый я ребенокъ, или что?

И они пошли, держась близко къ избамъ, чтобы идти по полосѣ тѣни. Человѣкъ въ рясѣ шелъ впереди, развинченной, но скорой походкой привычнаго къ ходьбѣ существа. Сотскій, со здоровой шапкой въ рукѣ, шелъ сзади его.

Ефимушка былъ мужичекъ низенькаго роста, коренастый, съ широкимъ добрымъ лицомъ въ рамѣ русой свалявшейся въ клочья бороды, начинавшейся отъ его сѣрыхъ, ясныхъ глазъ. Онъ всегда почти улыбался чему-то, показывая здоровые желтые зубы и такъ наморщивая переносье — точно онъ хотѣлъ чихать. Одѣтъ онъ былъ въ азямъ, заткнувъ его полы за поясъ, чтобъ онѣ не путались въ ногахъ, на головѣ у него торчалъ темнозеленый картузъ безъ козырька, напоминая арестанскую фуражку.

Его спутникъ шелъ, какъ бы совсѣмъ не чувствуя его сзади себя. Шли они по узкой проселочной дорогѣ; она вьюномъ вилась въ волнистомъ морѣ ржи, и тѣни путниковъ ползли по золоту колосьевъ.

На горизонтѣ синѣла грива лѣса, влѣво, безконечно далеко вглубь, разстилались засѣянныя поля; среди нихъ лежало темное пятно деревни, за ней опять поля, тонувшія въ голубоватой мглѣ.

Справа, изъ-за купы ветелъ, вонзился въ синее небо обитый жестью и еще не выкрашенный шпиль колокольни—онъ такъ ярко блестѣлъ на солнцѣ, что на него больно было смотрѣть.

Въ небѣ звенѣли жаворонки, во ржи улибались

васильки и было жарко—почти душно. Изъ подъ ногъ путниковъ взлетала пыль.

Ефимушка, отхаркнувшись, затянулъ фальцетомъ!

Ге-эхъ-да-и съ чего й-то-о-о....

Д'и съ чего й-то тоска сердце мое ѣсть?

— Не хватаитъ голосу-то, дуй его горой! Н-да... а бывало пѣлъ я.... Вишенскій учитель скажетъ — ну-ка, Ефимушка, заводи! И зальемся мы съ нимъ! Правильный парень былъ онъ.....

— Кто онъ? — глухимъ басомъ спросилъ человѣкъ въ рясѣ.

— А Вишенскій учитель.....

— Вишенскій—фамилія?

— Вишенки—это, братъ, село. А то учитель Павлъ Михалычъ. Первый сортъ—человѣкъ былъ. Померъ въ третьемъ году.....

— Молодой?

— Тридцати годовъ не было.....

— Съ чего померъ-то?

— Съ огорченія, надо полагать.

Собесѣдникъ Ефимушки искоса взглянулъ на него и усмѣхнулся....

— Дѣло, видишь-ты, милый человѣкъ, такое вышло — училъ онъ, училъ годовъ семь кряду, ну и началъ кашлять. Кашлялъ, кашлялъ, да и затосковалъ.... Ну, а съ тоски, извѣстно, началъ пить водку. А отецъ Алесѣй не любилъ его, и какъ запилъ онъ, отецъ-отъ Алексѣй въ городъ бумагу и спосылалъ — такъ, молъ, и такъ — пьетъ учитель-то, дескать, это—соблазнь. А изъ города въ отвѣтъ тоже бумагу прислали и учительшу. Длинная такая, костлявая, носъ большущій. Ну, Павлъ Михаличъ видитъ—дѣло швахъ. Огорчился, дескать, учитель я, училъ.... ахъ вы, черти! Отправился изъ училища прямо въ больницу да черезъ пять день и отдалъ душу Богу.... Только и всего....

Нѣкоторое время шли молча. Лѣсъ все приближался къ путникамъ съ каждымъ шагомъ, выростая на ихъ глазахъ и изъ синяго становясь зеленымъ.

— Лѣсомъ пойдемъ? — спросилъ Ефимушкинъ спутникъ.

— Краюшекъ захватимъ, съ полверсты этакъ. А что? А? Ишь ты! Гусь ты, отецъ честной, погляжу я на тебя!

И Ефимушка засмѣялся, качая головой.....

— Ты чего? — спросилъ арестантъ.

— Да такъ, ничего. Ахъ ты! Лѣсомъ, говоритъ, пойдемъ? Простъ ты, милый человѣкъ, другой бы не спросилъ, который поумнѣе ежели. Тотъ бы прямо пришелъ въ лѣсъ да и того.....

— Чего?

— Ничего! Я, братъ, тебя насквозь вижу. Эхъ ты, душа ты моя, тонка дудочка! Нѣтъ, — ты эту думу — насчетъ лѣсу—брось! Или ты со мной сладишь? Да я троихъ такихъ уберу, а на тебя на одну лѣвую руку выйду... Понялъ?

— Понялъ! Дуракъ ты! — кратко и выразительно сказалъ арестнтъ.

— Что? Угадалъ я тебя? — торжествовалъ Ефимушка.

— Чучело! Чего ты угадалъ? — криво усмѣхнулся арестантъ.

— Насчетъ лѣсу.... Понимаю я! Дескать, я — это тыто, — такъ придемъ въ лѣсъ, тяпну тамъ его— меня-то, значитъ, — тяпну, да и зальюсь по-полямъ, да по лѣсамъ? Такъ ли?

— Глупый ты... — пожалъ плечами угаданный человѣкъ. — Ну куда я пойду?

— Ну ужъ, куда хочешь, — это твое дѣло...

— Да куда?—Ефимушкинъ спутникъ не то сердился, не то очень ужъ желалъ услышать отъ своего конвоира указаніе, куда именно онъ могъ бы идти.

— А-те говорю, куда хочешь! — спокойно заявилъ Ефимушка.

— Некуда мнѣ, братъ, бѣжать, некуда! — тихо сказалъ его спутникъ.

— Н-ну! — недовѣрчиво произнесъ конвоиръ и даже махнулъ рукой.—Бѣжать всегда есть куда. Земля-то, она велика. Одному человѣку на ней все-

гда мѣсто будетъ.

— Да тебѣ что? Хочется что ли, чтобъ я убѣжалъ? — полюбопытствовалъ арестантъ, усмѣхаясь.

— Ишь ты! Больно ты хорошъ! Развѣ это порядокъ? Ты убѣжишь, а за мѣсто тебя кого въ острогъ сажать будутъ? Меня тогда посадятъ. Нѣтъ, я такъ это, для разговору.....

— Блаженный ты.... а впрочемъ, кажется, хорошій мужикъ,—сказалъ, вздохнувъ, Ефимушкинъ спутникъ. Ефимушка не замедлилъ согласиться съ нимъ.

— Это точно, называютъ меня блаженнымъ нѣкоторые люди.... и что хорошій я мужикъ—это тоже вѣрно. Простой я, главная причина. Иные люди говорятъ все съ подходцемъ да съ хитрецой, а мнѣ чего? Я человѣкъ одинъ на свѣтѣ. Хитровать будешь — умрешь и правдой жить будешь — умрешь. Такъ я все напрямки больше.

— Это ты хорошо!—равнодушно замѣтилъ спутникъ Ефимушки.

— А какъ же? Для чего я стану кривить душой, коли я одинъ, весь тутъ. Я, братокъ, свободный человѣкъ. Какъ желаю, такъ и живу, по своему закону прохожу жизнь..... .Н-да..... А тебя какъ звать-то?

— Какъ? Ну... хоть Иванъ Ивановъ.... .

— Такъ! Изъ духовныхъ, что ли?

— Н-нѣтъ..... .

— Ну? А я думалъ—изъ духовныхъ.... .

— Это по одеждѣ-то, что ли?

— Вотъ, вотъ! Совсѣмъ ты вродѣ какъ бы бѣглый монахъ, а то разстриженный попъ.... А вотъ лицо у тебя не подходящее, съ лица ты вродѣ какъ бы солдатъ.... Богъ тебя знаетъ, что ты за человѣкъ? — И Ефимушка окинулъ странника любопытнымъ взглядомъ. Тотъ вздохнулъ, поправилъ шляпу на головѣ, вытеръ потный лобъ и спросилъ сотскаго:

— Табакъ куришь?

— Ахъ ты, сдѣлай милость! Конечно, курю!

Онъ вытащилъ изъ-за пазухи засаленый кисетъ и, наклонивъ голову, но не останавливаясь, сталъ набивать табакъ въ глиняную трубку.

— На-ко, закуривай!—Арестантъ остановился

и, наклонясь къ зажженой конвоиромъ спичкѣ, втянулъ въ себя щеки. Синій дымокъ поплылъ въ воздухѣ.

— Такъ изъ какихъ ты будешь-то? Мѣщанинъ, что ли?

— Дворянинъ...— кратко сказалъ арестантъ и сплюнулъ въ сторону на колосья хлѣба, уже подернутые золотымъ блескомъ.

— Э-э! Ловко! Какъ же это ты безъ пачпорта гуляешь?

— А такъ и гуляю.

— Ну-ну! Дѣла! Не свычна, чай, этакая волчья жизнь для твоего дворянства? Э-эхъ ты горюнъ!

— Ну ладно ужъ.... будетъ болтать-то, —сухо сказалъ горюнъ.

Но Ефимушка съ возрастающимъ любопытствомъ и участіемъ оглядывалъ безпаспортнаго человѣка и, задумчиво качая головой, продолжалъ:

— А-яй! Какъ судьба съ человѣкомъ-то играетъ, ежели подумать! Вѣдь оно, пожалуй, и вѣрно, что ты изъ дворянъ, потому осанка у тебя этакая великолѣпная. Давно ты живешь въ такомъ образѣ?

Человѣкъ съ великолѣпной осанкой сумрачно взглянулъ на Ефимушку и отмахнулся отъ него рукой, какъ отъ назойливой осы.

— Брось, говорю! Что ты присталъ, какъ баба?

— А ты не сердись!—успокоительно проговорилъ Ефимушка.—Я по чистому сердцу говорю.... сердце у меня доброе очень......

— Ну и твое счастье.... А вотъ, что языкъ у тебя безъ умолку мелетъ—это мое несчастье.

— Ну инъ ладно! Я коли и помолчу... можно и помолчать, ежели человѣкъ не хочетъ слушать твоего разговору. А сердишься ты все-таки безъ причины... Али моя вина, что тебя на бродяжьемъ положеніи пришлось жить?

Арестантъ остановился и такъ сжалъ зубы, что его скулы выдались двумя острыми углами, а сѣдая щетина на нихъ встала ершомъ. Онъ смѣрилъ Ефимушку съ ногъ до головы загорѣвшимися злобой и прищуренными глазами.

Но раньше, чѣмъ Ефимушка замѣтилъ эту мимику, онъ снова началъ мѣрять землю широкими шагами.

На лицо болтливаго сотскаго легъ отпечатокъ разсѣянной задумчивости. Онъ посматривалъ вверхъ, откуда лились трели жаворонковъ, и подсвистывалъ имъ сквозь зубы, помахивая палкой въ тактъ своихъ шаговъ.

Подходили къ опушкѣ лѣса. Онъ стоялъ неподвижной и темной стѣной—ни звука не неслось изъ него навстрѣчу путникамъ. Солнце уже садилось, и его косые лучи окрасили вершины деревьевъ въ пурпуръ и золото. Отъ деревьевъ вѣяло пахучей сыростью; сумракъ и сосредоточенное молчаніе, наполнявшіе лѣсъ, рождали жуткое чувство.

Когда лѣсъ стоитъ передъ глазами теменъ и неподвиженъ, когда весь онъ погруженъ въ таинственную тишину, и каждое дерево точно чутко прислушивается къ чему-то,—тогда кажется, что весь лѣсъ полонъ чѣмъ-то живымъ и лишь временно притаившимся. И ждешь, что въ слѣдующій моментъ вдругъ выйдетъ изъ него нѣчто громадное и непонятное человѣческому уму, выйдетъ и заговоритъ могучимъ голосомъ о великихъ тайнахъ творчества природы.....

II.

Подойдя къ опушкѣ лѣса, Ефимушка и его спутникъ рѣшили отдохнуть и усѣлись на траву около широкаго дубоваго пня. Арестантъ медленно стащилъ съ плечь котомку и равнодушно спросилъ сотскаго:

— Хлѣба хочешь?

— Дашь, такъ пожую,—отвѣтилъ Ефимушка, улыбаясь

И вотъ они молча стали жевать хлѣбъ. Ефимушка ѣлъ медленно и все вздыхалъ, посматривая куда-то въ поле, влѣво отъ себя, а его спутникъ весь углубился въ процессъ насыщенія, ѣлъ скоро и звучно чавкалъ, измѣряя глазами свою краюху хлѣба. Поле темнѣло, хлѣба уже потеряли свой золотистый колоритъ и стали разовато-желтыми; съ юго-запада на

небо всползали лохматыя тучки, отъ нихъ на поле падали тѣни,—падали и ползли по колосямъ къ лѣсу, гдѣ сидѣли двѣ темныя человѣческія фигуры. И отъ деревьевъ тоже ложились на землю тѣни, а отъ тѣней вѣяло на душу грустью.

— Слава Тебѣ, Господи!—возгласилъ Ефимушка, собравъ съ полы азяма крошки хлѣба и слизалъ ихъ съ ладони языкомъ.—Господь напиталъ—никто не видалъ, а кто и видѣлъ, такъ не обидѣлъ! Другъ! Посидимъ здѣсь часокъ? Успѣемъ въ холодную-то?

Другъ кивнулъ головой.

— Ну вотъ.... Мѣсто больно хорошее, памятное мнѣ мѣсто..... Вонъ тамъ, влѣво, господъ Тучковыхъ усадьба была....

— Гдѣ?—быстро спросилъ арестантъ, оборачиваясь туда, куда Ефимушка махнулъ рукой....

— А эвона—за тѣмъ мыскомъ. Тутъ все вокругъ ихнее было. Богатѣйшіе господа были, но послѣ воли свихнулись.... Я тоже ихній былъ,—мы всѣ тутъ бывшіе ихніе. Большая семья была.... Полковникъ самъ-то—Александръ Никитичъ Тучковъ. Дѣти были: четверо сыновей—куда всѣ теперь подѣвались? Словно вѣтромъ разнесло людей, какъ листья по осени. Одинъ только Иванъ Александровичъ цѣлъ,—вотъ я тебя къ нему и веду, онъ у насъ становымъ-то.... Старый ужъ..... .

Арестантъ засмѣялся. Смѣялся онъ глухо, какимъ-то особеннымъ внутреннимъ смѣхомъ, — грудь и животъ у него колыхались, но лицо оставалось неподвижнымъ, только сквозь оскальные зубы вырывались глухіе, точно лающіе звуки.

Ефимушка боязливо поежился и, подвинувъ свою палку поближе къ рукѣ, спросилъ у него:

— Чего это ты? Находитъ на тебя что ли?... ась?

Ничего... это такъ, пройдетъ, сказалъ арестантъ отрывисто, но ласково. — Разсказывай знай...

— Н-да... Такъ вотъ, значитъ, какія дѣла, — были это господа Тучковы, и нѣту ихъ... Которые померли, а которые пропали, такъ ни слуху, ни духу о нихъ и нѣту. Особливо одинъ тутъ былъ... самый

меньшой Викторомъ звали... Витей. Товарищи мы съ нимъ были... Въ ту пору, какъ волю объявили, было намъ съ нимъ лѣтъ по четырнадцати... Экій мальчикъ былъ, помяни Господи добромъ его душеньку! Ручей чистый! Такъ вотъ весь день и стремится, такъ это и журчитъ... Гдѣ-то онъ теперь? Живъ или ужъ нѣтъ?

— Чѣмъ больно хорошъ былъ? — тихо спросилъ Ефимушку его спутникъ.

— Всѣмъ! — воскликнулъ Ефимушка. — Красотой, разумомъ, добрымъ сердцемъ... Ахъ ты странній человѣкзъ, душа ты моя, спѣла ягода! Посмотрѣлъ бы ты тогда на насъ двоихъ... ай, ай, ай! Въ какія игры мы играли, какая развеселая жизнь была, — люди малина! Бывало крикнетъ — Ефимушка! — Идемъ на охоту! Ружье у него было, — отецъ подарилъ въ именины, — и мнѣ бывало стащитъ ружье. И закатимся мы это въ лѣса, да дня на два, на три! Придемъ домой — ему проборка, мнѣ порка; глядишь, на другой день снова: — Ефимушка — по грибы! — Птицы мы съ нимъ погубили — тысячи! Грибовъ этихъ собирали — пуды! Бабочекъ, жуковъ онъ ловилъ, бывало, и въ коробки ихъ, на булавки насаживалъ... Занятно! Грамотѣ меня училъ... Ефимушка, говоритъ, я тебя учить буду. Валяйте! Ну и началъ... Говори, говоритъ — а! Я ору—а-а! Смѣхи! Сначала-то мнѣ въ шутку это дѣло было — на што она, грамота-то, крестьянину?.. Ну, онъ меня увѣщеваетъ: «на то, говоритъ, тебѣ, дураку, и воля дана, чтобы ты учился... Будешь, говорить, грамотѣ знать, — узнаешь, какъ жить надо и гдѣ правду искать»... Извѣстно, малое дитя — переимчиво, наслушался, видно, у старшихъ этакихъ рѣчей и самъ началъ тоже говорить... Пустое, конечно, все. Въ сердцѣ она, грамота-то, сердце и насчетъ правды укажетъ... Оно — глазастое... Такъ вотъ, учитъ онъ меня... такъ присосался къ этому дѣлу, — дохнуть мнѣ не даетъ! Маята! Я — молить! Витя, говорю, мнѣ грамота не въ моготу, не могу, говорю, а ее одолѣть... Такъ онъ на меня, ка-акъ рявкнетъ! Папиной нагайкой запорю — учись! Ахъ ты, сдѣлай милость! Учусь.. Разъ збѣжалъ съ урока, прямо вскочилъ да и удралъ!

Такъ онъ меня съ ружьемъ искалъ весь день — застрѣлить хотѣлъ. Послѣ говоритъ мнѣ, — кабы, говоритъ, встрѣтилъ я тебя въ тотъ день — застрѣлилъ бы, говоритъ! Вотъ какой былъ рѣзкій! Непреклонный, огневой — настоящій баринъ... Любилъ онъ меня; пламенная душа... Разъ мнѣ тятька спину вожжами расписалъ, а какъ онъ, Витя-то, увидалъ это, пришедши къ намъ въ избу, — батюшки мои — что вышло! поблѣднѣлъ весь, затрясся, сжалъ кулаки и къ тятенькѣ на полати лѣзетъ. Это, говоритъ, ты какъ смѣлъ? Тятька говоритъ — я-де отецъ! Ага! Ну хорошо, отецъ, одинъ я съ тобой не слажу, а спина у тебя будетъ такая же, какъ у Ефимки. Заплакалъ послѣ этихъ словъ и убѣгъ... И что жъ ты скажешь, отче? Исполнилъ, вѣдь, свое слово. Дворню, видно, подговорилъ, что ли, только однажды тятенька пришелъ домой, кряхтитъ; сталъ-было рубашку снимать, анъ она присохла къ спинѣ-то у него... Разсердился на меня отецъ въ ту пору — изъ-за тебя, говоритъ, терплю, барскій ты прихвостень. И здоровенную задалъ мнѣ теребачку... Ну, а насчетъ барскаго прихвостня это онъ напрасно, — а такимъ не былъ...

— Вѣрно, Ефимъ, не былъ! — утвердительно сказалъ арестантъ и весь вздрогнулъ, — это видно и сейчасъ, не могъ ты быть барскимъ прихвостнемъ, — какъ-то торопливо добавилъ онъ.

— То-то и оно! — воскликнулъ Ефимушка. — Просто я любилъ его, Витю-то... Такой это таланный ребенокъ былъ, всѣ его любили... не одинъ я... Бывало рѣчи онъ говоритъ разныя... не помню я ихъ, тридцать годовъ слишкомъ прошло съ той поры... Ахъ, Господи! Гдѣ-то онъ теперь? Чай, коли живъ, то высокое мѣсто занимаетъ или... въ самомъ омутѣ кипитъ... Жизнь людская растаковская! Кипитъ она, кипитъ, а все ничего путнаго не сварится... А люди пропадаютъ... и жалко людей, даже до смерти жалко! — Ефимушка, тяжело вздохнулъ, поникъ головой на грудь... Съ минуту длилось молчаніе.

— А меня тебѣ жалко? — весело спросилъ арестантъ и все лицо у него было освѣщено такой хорошей, доброй улыбкой...

— Да вѣдь чудакъ-человѣкъ! — воскликнулъ Ефимушка, — какъ же тебя не жалѣть? Что ты такое, ежели подумать? Коли ты бродишь, такъ, видно, нѣтъ у тебя ничего своего на землѣ-то, ни угла, ни щепочки... А можетъ еще и великъ грѣхъ ты носишь съ собой — кто тебя знаетъ? Горюнъ ты — одно слово...

— Такъ, сказалъ арестантъ...

И они снова замолчали. Солнце уже сѣло, и тѣни стали гуще. Въ воздухѣ пахло влажной землей, цвѣтами и лѣсной плѣсенью... Долго сидѣли молча.

— А какъ тутъ ни хорошо — все-таки надо идти... Намъ еще верстъ восемь осталось... Айда-ка, отче, подымайся!

— Посидимъ еще немного, — попросилъ отче...

— Да я ничего, я самъ люблю ночью около лѣса быть... Только когда жъ мы придемъ въ волость-то? Заругаютъ меня — поздно-де.

— Ничего, не заругаютъ...

— Развѣ ты словечно замолвишь, — усмѣхнулся сотскій.

— Могу.

— Ой ли?

— А что?

— Шутникъ ты! Онъ-те, становой-то, задастъ перцу!

— Дерется развѣ?

— Лютъ! И ловокъ — ахнетъ кулакомъ въ ухо, а выходитъ все равно, какъ бы косой по ногамъ.

— Ну, мы ему сдачи дадимъ, — увѣренно сказалъ арестантъ, дружески потрепавъ своего конвоира по плечу.

Это было фамильярно и не понравилось Ефимушкѣ. Какъ никакъ, а онъ все-таки начальство, и этотъ усь не долженъ забывать, что у Ефимушки за пазухой есть мѣдная бляха. Ефимушка всталъ на ноги, взялъ въ руки свою палку, вывѣсилъ бляху на самую середину груди и строго сказалъ:

— Вставай, идемъ!

— Не пойду! — сказалъ арестантъ.

Ефимушка смутился и, вытаращивъ глаза, съ

полминуты молчалъ, не понимая, съ чего это арестантъ вдругъ сталъ такой шутникъ?

— Ну, не валандайся, идемъ! — уже мягчо сказалъ онъ.

— Не пойду! — рѣшитель:но повторилъ арестантъ.

— То-есть, какъ не пойдешь? — закричалъ Ефимушка въ изумленіи и гнѣвѣ.

— Такъ. Хочу здѣсь ночевать съ тобой... Нука, разжигай костеръ...

— Я-те дамъ ночевать! Я-те такой костеръ на спинѣ у тебя разожгу — люблю-дорого — грозилъ Ефимушка. Но въ глубинѣ души онъ былъ изумленъ. Говоритъ человѣкъ — не пойду, — а сопротивленія никакого не оказываетъ, въ драку не лѣзетъ, лежитъ себѣ на землѣ и больше ничего. Какъ тутъ быть?

— Не ори, Ефимъ, — спокойно посовѣтовалъ арестантъ.

Ефимушка снова замолчалъ и, переминаясь съ ноги на ногу надъ своимъ арестантомъ, смотрѣлъ на него большими глазами. И тотъ на него смотрѣлъ, смотрѣлъ и улыбался. Ефимушка тяжело соображалъ, какъ же теперь нужно ему поступать?

И съ чего этотъ бродяга, все время такой угрюмый и злой, теперь вдругъ разбаловался такъ? А что, если навалиться на него, скрутитъ ему руки, дать раза два по шеѣ, да и все? И самымъ строго-начальническимъ тономъ, какой только былъ въ его распоряженіи, Ефимушка сказалъ:

— Ну, ты, огарокъ, вотъ что, — покочевряжился, и будетъ! Вставай! А то я тебя свяжу, такъ тогда пойдешь, небойсь! Понялъ? Ну? Смотри — бить буду!

— Меня-то? — усмѣхнулся арестантъ.

— Аа ты что думаешь?

— Вито-то Тучкова, ты, Ефимъ, бить будешь?

— Ахъ ты — пострѣлитъ-те горой! — изумленно воскликнулъ Ефимушка, — да что ты въ самомъ дѣлѣ? Что ты мнѣ представленья-то представляешь? На-ко-ся!

— Ну, будетъ кричать, Ефимушка, пора тебѣ

узнать меня, — спокойно улыбаясь, сказалъ арестантъ и всталъ на ноги, — здравствуй, что ли!

Ефимушка попятился назадъ отъ протянутой къ нему руки и во всѣ глаза смотрѣлъ въ лицо своего арестанта. Потомъ губы у него затряслись и все лицо сморщилось...

— Викторъ Александровичъ... и впрямъ, что ли, вы это? — шопотомъ спросилъ онъ.

— Хочешь — документы покажу? А то, — всего лучше, — старину напомню... Ну-ка — помнишь какъ ты въ Раменскомъ бору въ волчью яму попалъ? А какъ я за гнѣздомъ полѣзъ на дерево и повисъ на сучкѣ внизъ головой? А какъ мы у старухи-молочницы Петровны сливни крали? И сказки она намъ говорила?

Ефимушка грузно сѣлъ на землю и растерянно засмѣялся.

— Повѣрилъ? — спросилъ его арестантъ и тоже сѣлъ рядомъ съ нимъ, заглядывая ему въ лицо и положивъ на плечо его свою руку. Ефимушка молчалъ. Вокругъ нихъ стало совсѣмъ темно. Въ лѣсу родился смутный шумъ и шопотъ. Далеко, гдѣ-то въ чащѣ, застонала ночная птица. Туча ползла на лѣсъ чуть замѣтнымъ движеніемъ.

— Что же, Ефимъ, — не радъ встрѣчѣ? Или очень ужъ радъ? Эхъ ты... святая душа! Какъ былъ ты ребенкомъ, такъ и остался... Ефимъ? Да говори что ли, чудовище милое!

Ефимушка началъ усиленно сморкаться въ полу азяма...

— Ну, братъ! Ай, ай, ай! — укоризненно закачалъ головой арестантъ. — Что это ты? Стыдись! чай, тебѣ на пятый десятокъ годы идутъ, а ты этакимъ пустяковымъ дѣломъ занимаешься? Брось! — и онъ, обнявъ сотскаго за плечи, легонько потрясъ его. Сотскій засмѣялся дрожащимъ смѣхомъ и, наконецъ, заговорилъ, не глядя на своего сосѣда:

— Да развѣ я что?... Радъ я.. Такъ это вы и есть? Какъ мнѣ въ это повѣрить? Вы, и... такое дѣло! Витя... и въ этакомъ образѣ! Въ холодную... Пачпорту нѣтъ... Хлѣбомъ питаетесь... Табаку нѣтъ... Госпо-

ди— Вѣдь это развѣ порядокъ? Ежели бы это я былъ... а вы бы хоть сотскій... и то легче! А теперь что же вышло? Какъ мнѣ смотрѣть въ глаза вамъ? Я всегда про васъ съ радостью помнилъ... Витя, — думаешь, бывало... Такъ даже сердце защекочетъ. А теперь — на-ко! Господи... вѣдь это ежели людямъ разсказать — не повѣрять.

Онъ бормоталъ свои отрывистыя фразы, упорно глядя на свои ноги, и все хватался рукой то за грудь, то за горло.

— А ты людямъ про все это и не говори, не надо. И перестань... Насчетъ меня не безпокойся... Бумаги у меня есть, я не показалъ ихъ старостѣ, чтобы не узнали меня тутъ... Въ холодную меня братъ Иванъ не посадитъ, а, напротивъ, поможетъ мнѣ на ноги встать... Останусь я у него, и будемъ мы съ тобой снова на охоту ходить... Видишь, какъ хорошо все устраивается.

Витя говорилъ это ласково, тѣмъ тономъ, которымъ взрослые утѣшаютъ огорченныхъ дѣтей. Навстрѣчу тучѣ, изъ-за лѣса всходила луна, и края тучи, посребренные ея лучами, приняли мягкіе опаловые оттѣнки. Въ хлѣбахъ кричали перепела, гдѣ-то трещалъ коростель... Мгла ночи становилась все гуще.

— Это дѣйствительно... — тихо началъ Ефимушка, — Иванъ Александровичъ родному брату порадѣетъ и вы, значитъ, снова приспособитесь къ жизни. Это все такъ... И на охоту пойдемъ.. Только все не то... Я думалъ, вы какихъ дѣловъ въ жизни надѣлаете! А оно — вонъ что...

Витя Тучковъ засмѣялся.

— Я, братъ Ефимушка, надѣлалъ дѣловъ достаточно... Имѣніе, свою часть прожилъ, на службѣ не служилъ, былъ актеромъ, былъ приказчикомъ въ торговлѣ лѣсовъ, потомъ самъ держалъ актеровъ... потомъ прогорѣлъ до тла, всѣмъ задолжалъ, впутался въ одну исторію... эхъ! Всего было... И — все прошло!

Арестантъ махнулъ рукой и добродушно засмѣялся.

— Я, братъ Ефимушка, теперь ужъ не баринъ... вылѣчился отъ этого! Теперь мы съ тобой такъ заживемъ! а? да, ну! очнись!

— Я вѣдь ничего... — заговорилъ Ефимушка подавленнымъ голосомъ, — стыдно мнѣ только. Говорилъ я вамъ разное такое... несуразныя слова и вообще... Мужикъ, извѣстное дѣло... Такъ, говорите, заночуемъ тутъ? Я инъ костеръ разложу...

— Ну-ка, дѣйствуй!..

Арестантъ вытянулся на землѣ кверху грудью, а сотскій исчезъ въ опушкѣ лѣса, откуда тотчасъ же раздался трескъ сучьевъ и шорохъ. Скоро Ефимушка появился съ охапкой хвороста, а черезъ минуту по маленькому холмику изъ мелкихъ сучьевъ уже весело ползала змѣйка огня.

Старые товарищи задумчиво смотрѣли на нее, сидя другъ противъ друга и поочередно куря трубку.

— Совсѣмъ какъ тогда, — грустно говорилъ Ефимушка.

— Только времена не тѣ, — сказалъ Тучковъ.

— Н-да, жизнь-то стала круче характеромъ... Эвона какъ васъ.. обломала...

— Ну, это еще неизвѣстно — она меня или я ее... — усмѣхнулся Тучковъ.

Замолчали...

Сзади ихъ возвышалась темная стѣна тихо шептавшаго о чемъ-то лѣса, весело трещалъ костеръ, вокругъ него безшумно плясали тѣни и надъ полемъ лежала непроглядная тьма.

СЦѢПЩИКЪ.

Макаръ высунулъ голову изъ своего вагона, въ которомъ жилъ съ семьей.

Солнце еще не успѣло подняться и стояло низко надъ вагонами и землянками. Сизыя тѣни наполняли воздухъ, и дымка окутывала просыпающуюся землю. Начиналось весенное утро, свѣжее и ясное.

Макаръ нѣсколько разъ глубоко втянулъ въ себя воздухъ. Вагонѣ «шибало духомъ» и пахло «человѣченой». Это оттого, что онъ былъ товарный, тѣсный, темный, безъ оконъ, а народу было въ немъ много. Пятеро ребятышекъ, разметавшись разгоряченными грязными тѣлами, лежали на полу, прикрытые тряпьемъ, которое было когда-то одѣялами. Тутъ же спала жена Макара, отецъ и теща.

Макаръ опять спряталъ въ вагонъ голову, на четвереинькахъ перелѣзъ черезъ спящихъ дѣтей, вытащилъ изъ-подъ изголовья свои сапоги и портянки и сталъ обуваться. Какъ разъ впору идти на дежурство.

Жена Макарова тоже поднялась съ заспаннымъ, измятымъ, покрытымъ рубцами и красными полосами отъ жесткой подушки, лицомъ, вышла и стала возиться около печки, розводя огонь. Макаръ плеснулъ себѣ водицы на лицо, вытерся подоломъ рубахи, покрестился, торопливо кланяясь, на рѣдѣвшій востокъ и, захвативъ флажокъ, свистокъ и краюху хлѣба за пазуху, отправился на станцію.

Станція издали краснѣла кирпичными неоштукатуренными зданіями. Поселокъ, пріютившійся у

станціи, весь дымился выбѣленными трубами. Слѣва раскинулись степь, могучая, открытая, слегка волнистая. Пройдетъ двѣ-три недѣли—и она станетъ унылымъ, бурымъ, выгорѣвшимъ, спаленннымъ солнцемъ пространствомъ. Зато теперь, насколько только хватитъ глазъ, это былъ зеленый просторъ, яркій и свѣжій. Мѣстами, ярко выдѣляясь, краснѣли полосы тюльпановъ. Какъ по ниткѣ уходили въ даль рельсы, телеграфные столбы и, уменьшаясь, пропадали вдали. Далеко, далеко на самомъ гребнѣ, желтѣя, поворачивало желѣзнодорожное полотно и телеграфные столбы казались тамъ тонькими черточками.

Мимо пробѣжалъ табунъ лошадей. Вдали маячили кибитки калмыковъ. Макаръ остановился.

— Эка благодать Божья!

Онъ снялъ картузъ и провелъ жесткой рукой по лысинѣ. Въ травѣ, въ воздухѣ, надъ полотномъ, въ телеграфныхъ проволокахъ стояли неопредѣленные звуки, которыхъ никогда не знаетъ городской житель. Впрочемъ, еще не было ни кузнечиковъ, ни жучковъ, и въ то же время степь звучала. Это была пѣснь весны, неслышная, неуловимая.

Надъ однимъ изъ станціонныхъ зданій вырвался и заклубился бѣлый паръ,—и грубый, рѣзкій, настойчивый и упорный гудокъ зазвучалъ, нарушая весеннюю мелодію, и далеко, далеко понесся надъ зеленымъ просторомъ.

Шесть часовъ.

Макаръ поспѣшно зашагалъ къ станціи. Надъ полотномъ тамъ и сямъ курились бѣлымъ паромъ паровозы. На послѣдней стрѣлкѣ, громыхая, уходилъ утренній поѣздъ. Вотъ и дежурный, маневренный паровозъ № 713, угрюмая, черная, тяжелая, неповоротливая машина, вѣчно хмурая и неопрятная,— нефть грязными полосами постоянно стекаетъ по

ея бокамъ,—но зато необыкновенно сильная.

Макаръ подошелъ вплотную, взялся за ручки и поднялся на площадку. Номеръ 713 оглушительно шипѣлъ, такъ что приходилось кричать, чтобы слышали.

— Карлѣ Иванычу мое почтеніе!

Машинистъ, хмурый нѣмецъ, проговорилъ, не протягивая своей черной, пропитанной нефтью руки.

— Бувайтъ здоровъ, Макаръ!

Нѣмецъ, казалось, и самъ былъ насквозь пропитанъ нефтью. Макаръ поздоровался съ помощникомъ, молоденькимъ, безусымъ восемнадцатилѣтнимъ парнемъ. Отъ форсинки несло нестерпимымъ жаромъ. Лица у машинисты и помощника были потны.

Тепло тутъ у васъ.

— Тепло, куда теплѣе. Форсунка все балуетъ,— проговорилъ помощникъ, и какъ бы въ подтвержденіе его словъ изъ форсунки вырвался снопъ пламени съ удушливыми газами.

— Ну, Карла Иванычъ, теперя къ депѣ валяйте, заберемъ вагоны, надо десятичасовой составлять.

Карлъ Иванычъ взялся за регуляторъ и повернулъ рычагъ № 713 разомъ смолкъ и, производя странное впечатлѣніе наступившей тишиной послѣ нестерпимаго шипѣнія и надавливая на рельсы всѣмъ своимъ огромнымъ корпусомъ, тихонько тронулся заднимъ ходомъ. Изъ черной трубы съ металлическимъ вздохомъ, точно взрывъ, вырвался клубъ бѣлаго пара. Мимо пошли вагоны, полотно. Макаръ торопливо соскочилъ съ подножки, обогналъ паровозъ и перевелъ стрѣлку. Паровозъ перешелъ на другой путь и направился въ депо, а Макаръ на ходу, какъ обезяна, уцѣпился за подножку и, повиснувъ на

одной рукѣ, въ другой держа флажокъ, глядѣлъ, какъ приближались вагоны, стоявшіе у депо.

Со скрежетомъ и звономъ ударился паровозъ буферами въ ближайшій вагонъ. Макаръ соскочилъ, посвистѣлъ,—паровозъ убавилъ ходу,—затѣмъ онъ торопливо пролѣзъ головой подъ буферами и, идя между катившимися вагонами, накинулъ цѣпи, крюкъ и сталъ его свинчивать, чтобы стянуть. Вагоны тихо катились, все наталкиваясь одинъ на другой и звеня буфетами. Если Макаръ столкнется, зацѣпится ногой, сдѣлаетъ неловкое движеніе,—его сейчасъ же повалитъ и мгновенно перерѣжетъ десятками паръ колесъ, которыя, тихо и грозно поворачиваясь, вдавливали шпалы въ песокъ. Но Макаръ меньше всего думалъ объ этомъ. Онъ шелъ между вагонами и думалъ, что кромѣ этихъ десяти вагоновъ надо добавить еще семнадцать балластныхъ, что надо незабыть завести въ депо два «больныхъ» вагона, которые стоятъ на запасномъ пути, что надо получить семь копеекъ долгу со стрѣлочнаго Ивана, что сапоги у него давно прохудились, неловко ходить: полны песку.

Макаръ опять торопливо выбрался изъ-подъ вагоновъ и свистнулъ. Паровозъ остановился, дохнулъ, крюки натянулись, и вагоны, скрипя желѣзомъ, одинъ за другимъ пошли въ обратную сторону. Макаръ на ходу уцѣпился за задній вагонъ.

Началась обычная, ежедневная работа: стрѣлки, буфера крюки, цѣпи, звонъ металлическихъ частей вагоновъ, свистки, нестерпимое шипѣнье и тяжелое дыханіе паровозовъ, песокъ, которымъ усыпано полотно и изъ котораго съ трудомъ вытаскиваешь ноги, и къ концу дежурства усталость, [illegible] нечеловѣческая, одуряющая,—вотъ все, что будетъ заполнять собою его 24-часовое дежурство. И это тянется

уже десять лѣтъ, въ теченіе которыхъ онъ служитъ на желѣзной дорогѣ.

Для посторонняго свѣжаго человѣка эта непрерывная безъ отдыха 24-часовая работа кажется чѣм-то чудвоищнымъ, противоестественнымъ. Вѣдь создалъ же Богъ день и ночь—день работать, ночь для отдыха—строго карая отнятіе силы, здоровья, преждевременной старостью тѣхъ, кто нарушаетъ основную заповѣдь объ отдыхѣ и работѣ. Но Макаръ и противъ Бога спорилъ: Десять лѣтъ, какъ онъ изо дня въ день нарушалъ эту заповѣдь, работая по 24 часа, ему давали на отдыхъ, но страшное напряженіе въ теченіе сутокъ не возмѣщалось и этимъ отдыхомъ. И уже наказаніе Божіе отпечатлѣлось на немъ: еще не старый человѣкъ, онъ весь былъ въ морщинахъ, согнулся, щеки ввалились и руки дрожали. На разсвѣтѣ же, въ концу его дежурства, въ немъ трудно было признать человѣка: колеблющаяся, невѣрная походка, мутные глаза и безсмысленное лицо идіота, безъ мысли, безъ выраженія.

Впрочемъ, Макаръ объ этомъ не думалъ, не задавался такими вопросами; онъ просто въ шесть часовъ становился на дежурство, потомъ къ концу 24 часовъ дѣлался идіотомъ, потомъ, дотащившись до своего смраднаго, тѣснаго, темнаго, а зимою холоднаго вагона, падалъ, какъ снопъ, и засыпалъ тяжелымъ сномъ, потомъ просыпался и, если были деньги, напивался пьянъ, если же ихъ не было, садился чинить себѣ сапоги, ребятишкамъ и женѣ башмаки. Все это онъ пордѣлывалъ потому, что у него было пятеро ребятишекъ, жена, отецъ и теща, и всѣ они, къ его глубокому прискорбію, ѣли аккуратно каждый день.

Свою семью, рыбятишекъ онъ любилъ по-своему. Если бы кого нибудь и зъ его ребятъ задавило ва-

гономъ или искалѣчило, онъ извелся бы отъ горя, а тому, что они хирѣли отъ плохой пищи, нищеты и тяжелой обстановки, онъ не придавалъ никакого значенія.

Пилъ Макаръ потому, что это было его единственная услада. Кругомъ была степь, на много верстъ безлюдная, и изрѣдка лишь попадались казачьи хутора. Но онъ дальше своего желѣзнодорожнаго полотна нигдѣ не бывалъ. Возлѣ раскинулся небольшой поселокъ. Въ концѣ его стояла покрившаяся землянка, гдѣ Семенычъ тайно торговалъ водкой и принималъ въ закладъ носильное платье, и куда Макаръ нерѣдко заглядывалъ.

— Номеръ триста двадцать шестой, триста сорокъ девятый.....

— Есть.

— Пятьсотъ восемьдесять первый, сто седьмой, — монотоннымъ привычнымъ голосомъ читалъ составитель поѣздовъ по бумагѣ, которую ему выдавали въ конторѣ, номера вагоновъ, которые онъ долженъ былъ включить въ поѣздъ.

— Есть, есть,—отвѣчалъ Макаръ, загибая на закорузлой рукѣ пальцы.

— Двѣсти одинадцатый.... У Емеляна вчера здорово дрызнули.

— Есть... Здорово? Небось четверть сожрали?

— Девяносто пятый, да на карьеръ подъ песокъ двѣ платформы.... Четверть! четверть и не попахла. Опосля я двѣ бутылки да Миколай двѣ.

— Платформы то я въ хвостъ поставилъ... Миколка здоровы пить.... въ складчину съ нимъ нельзя: не оглянешься, а водки ужъ нѣтъ.

— Да пусть на второй путь оцѣпять, чтобъ грузить сейчасъ.... У Миколки то, ушли мы, водка загорѣлась: бабы прибѣгали, сказывали, конскимъ на-

возомъ съ водой отпаивали, не знаю: отошелъ ли, нѣтъ ли..

— Сумлѣваюсь я только, кабы девяносто пятый дорогой не заболѣлъ, не надеженъ..... А что бабы, такъ оно какъ бабье царство есть такъ и останется: у человѣка водка въ нутрѣ загорѣлась, а онѣ его навозомъ. Мыслимое ли дѣло! Первое средство, ежели у тебя въ нутрѣ загорѣлась водка, купи бутылку, и какъ ни мога, скорѣй выпей—тутъ же тебѣ и зальетъ все.

Макаръ сосредоточенно посмотрѣлъ на вагонъ, потомъ себѣ на сапоги и похлопалъ ихъ флажкомъ.

— А надысь у меня загорѣлась, денегъ не было, сбѣгалъ къ Семенычу, сапоги новые продалъ, ну, значитъ, и утушилъ, какъ выпилъ еще бутылку, она замлѣла, а то бы помереть могъ.

Макаръ розочарованно поворачивалъ свою ногу, на которой, какъ зубы, выглядывали грязные пальцы сквозь дыры сапога.

— Эти совсѣмъ прохудились.

— Часто она у тебя горитъ что-то, гляди, кабы тебѣ совсѣмъ не прогорѣть.

— Нѣ, это безъ шутокъ, первое средствіе....

— Ну, айда! слышишь, зоветъ.

Паровозъ, дѣйствительно, давно и настойчиво свистѣлъ. Макаръ торопливо пробѣжалъ къ дальнимъ вагонамъ, начиная уже съ усиліемъ вытаскивать изъ песка ноги. Тѣни отъ домиковъ, отъ вагоновъ, отъ телеграфныхъ столбовъ стали короткими, солнце подымалось все выше и выше и жгло, воздухъ струился.

Кругомъ все то же: полотно, усыпанное пескомъ, рельсы шпалы, стрѣлки, семафоры и вагоны, вагоны безъ конца.

Опять бѣгаетъ по песку Макаръ, полѣзаетъ подъ

буферами, цѣпляетъ крюки, махаетъ флажкомъ, посвистываетъ, переводитъ стрѣлки. Отсчипываетъ по кусочку хлѣбъ и запихиваетъ въ бѣгу въ ротъ,—хочется поѣсть, и нѣкогдаприсѣсть, а до вечера еще далеко, и впереди долгая, долгая ночь.

Служащіе на желѣзной дорогѣ расподаются на бѣлую кость и черную. Къ первымъ принадлежатъ механики, пощощники ихъ, машинисты, вообще искусстные рабочіе, ко вторым—стрѣлочники, сцѣпщики, сторожа составители. Первые зарабатываютъ шестьдесятъ, восемьдесятъ и даже до ста рублей въ мѣсящъ; вторые получаютъ отъ 8 до 25 рублей. Съ первыми начальники станціи и всякое другое желѣзнодорожное начальство обращается не то что по-человѣчески, но все же терпимо, вторыхъ всячески заушаютъ, не считая за людей. И Макаръ по отношенію ко всѣмъ чувствовалъ себя такъ, какъ вообще чувствуютъ себя, «макары», на которыхъ валятся всѣ шишки. Всякаго начальства онъ боялся, какъ огня. Но жить постоянно въ страхѣ, всегда сознавать себя меньше и ниже другихъ для человѣка невозможно. Онъ всегда ищетъ тѣхъ,, кто стоитъ еще ниже его, надъ кѣмъ онъ можетъ проявить свою власть. Макаръ тоже искалъ этого, но не находилъ, и только когда возвращался домой, чувствовалъ себя господиномъ: кричалъ на жену, подъ пьяную руку и бивалъ и награждалъ ребятишекъ колотушками.

Съ машинистами, съ которыми приходилось работать, Макаръ обращался заискивающе, они же,, всегда угрюмые, смотрѣли на него свысока. Вотъ и теперь онъ подошелъ къ неистово шипѣвшему номерѣ семьсотъ тринадцатому и проговорилъ заискиваще:

— Скоро, Карла Иванычъ, воду брать пойдете?

Дѣло то въ томъ, что, когда дежурный паровозъ бралъ воду, сцѣпщикъ могъ эти нѣсколько минутъ

отдохнуть, и Макаръ давно ждалъ этого момента. Но Карлъ Иванычъ сердито пробурчалъ:

— Когда пойдемъ, тогда и будемъ брать.

И опять сталъ бѣгать Макаръ отъ вагона къ вагону.

Стало вечерѣть. Длинныя, косыя тѣни потянулись по землѣ. Страшно долго тянется время при такой работѣ, а когда оглянешься, — незамѣтишь, какъ и день прошелъ.

Карлъ Иванычъ, наконецъ, пошелъ брать воду, Макаръ влѣзъ на площадку вагона, досталъ краюху хлѣба, ржавую «душистую» тарань и сталъ закусывать, обглядывая все до послѣдне косточки. Теперь онъ позабылъ и работу, и дежурство, и всю окружающую обстановку, и исключительно былъ занятъ свое таранью, съ которой меланхолически велъ разговоры, поглядывая на слѣды, которые оставляли на не его зубы.

— Ишь ты вѣдь какая: просолѣла вся, а пахнешь. А што жъ это, правильно што ль? Ужъ ежели соль, то она должна все выисть, тоисть, значитъ, всякую дрань, и пахнуть себѣ, значить, не затѣмъ. А то на какой же лядъ тебя солить, провялили бы такъ, и дѣлу конецъ.

И Макарь опять вопросительно поднесъ къ носу таранью голову и потянулъ носомъ, но тарань все-таки пахла.

— Нѣтъ, безъ всякаго разумѣнія рыба, прямо сказать, ледащая рыба, — и онъ, безнадежно махнулъ рукою, съ трескомъ разгрызъ таранью голову.

Вдали засвистѣлъ паровозъ.

— Ну, напился жеребецъ.

Макарь подобралъ крошки, вытеръ усы, перекрестился нѣсколько разъ, надѣлъ шапку и побѣжалъ къ паровозу. Тяжело было бѣжать, впереди еще 12

часовъ.....

Стало смеркаться. Видитъ Макаръ, изъ депо вышелъ одинъ паровозъ, за нимъ, немного погодя, другой, остановились. Машетъ на переднемъ паровозѣ что-то Макару машинистъ, но Макаръ не обращаетъ вниманія, со своимъ дѣломъ еле оправляется.

Смотритъ, опять машетъ машинистъ и кричитъ:

— Ты что же, оглохъ что ли! докудова дожидать-то будемъ.

— Чего надыть?

— А того надыть — паровозы сцѣпи, проситъ тебя....

— Чего пристали, старшій стрѣлочникъ-то на что? Мнѣ что ль за этимъ смотрѣть, своего дѣла не оберешься, а тутъ еще чужое суютъ.

Макаръ уцѣпился за тронувшійся свой паровозъ: надо было «больные» вагона изъ поѣзда выключить.

А машинистъ все ругается, грозитъ жаловаться начальнику. Видно, какъ онъ слѣзъ съ паровоза и пошелъ къ станціи, на платформѣ подошелъ къ дежурному по станціи помощнику начальника и сталъ говорить ему что-то. Минуты черезъ двѣ кликнули Макара. Макаръ торопливо прошелъ на платформу къ дежурному по станціи и снялъ шапку.

— Ты что-же это паровозы не сцѣпилъ?

— У меня свое дѣло было, выключаемъ больные вагоны, а изъ депо завсегда старшій стрѣлочникъ выводитъ, онъ и сцѣпку сдѣлаетъ. Вы ничего не изволили приказать, я и не зналъ.....

— А-а, не зналъ!

Помощникъ начальника размахнулся и.... бацъ. Кулакъ у него былъ большой, костлявый и волосатый, голова Макара сильно мотнулась въ сторону, лицо смертельно поблѣднѣло и обезобразилось, подъ глазомъ разбитое мѣсто налилось кровью и посинѣ-

ло. Дежурный круто повернулся и ушелъ. По платформѣ ходили жандармы, кондуктора. Всѣ дѣлали видъ, что ничего не замѣчаютъ.

Макаръ мялъ шапку, растеряно глядя кругомъ себя помутнѣвшимъ взоромъ, постоялъ и потомъ тихонько пошелъ, забывая надѣть шапку, къ своему паровозу: дѣло не ждало.

Снова надо было бѣгать по песку, пролазить подъ вагоны, сцѣпливать, давать сигналы свисткомъ, флагомъ, и Макаръ все это дѣлалъ, и, казалось, ничего кругомъ не измѣнилось, но почему -же эта ѣдкая горечь и боль томятъ душу? Что особеннаго случилось? И развѣ у Макара по прежнему не было пятерыхъ дѣтей, жены, тещи и отца, которые аккуратно ѣли каждый день? А разъ это остается попрежнему, значитъ, и все остальное остается по прежнему, значитъ, ничего не случилось; значитъ, надо бѣгать отъ вагона къ вагону такъ, какъ бѣгалъ третьяго дня, какъ бѣгалъ всѣ эти десять лѣтъ.

И онъ продолжалъ бѣгать.

Приходили и уходили поѣзда, станціонная платформа оживлялась и пустѣла, наступила ночь. Въ темнотѣ труднѣе и опаснѣе работать; раза два Макара едва не зщепило между сдвинувшимися буферами. Часамъ къ двѣнадцати сталъ размаривать сонъ. Глаза слипаются, походка стала невѣрной, споткнешься или зацѣпишься, и конецъ. И борется съ собою Макаръ, борется съ дремотой. дѣло вѣдь не шуточное, жить каждому хочется. Но чѣмъ ближе подходитъ разсвѣтъ, тѣмъ мучительнѣе становится работать; предутренній конецъ дежурства — самое тяжелое время. Сталъ цѣпляться Макаръ за рельсы, за шпалы, колѣни подгибаются, толкается о вагоны, и въ головѣ шумитъ и звонъ, съ трудомъ и звуки сталъ разбирать: иной разъ свистнетъ паровозъ, и

не знаетъ Макаръ, свистокъ это, или такъ показалось ему. И все, что кругомъ дѣлалось, казалось Макару смутнымъ и неяснымъ, точно ето былъ сонъ, и давило его что-то, и хотѣлъ онъ проснуться и не могъ.

Видитъ Макаръ, не совладать ему съ собой, все равно упадетъ гдѣ-нибудь или повалитъ его вагономъ и разрѣжетъ. Чтобъ дотянуть нѣсколько часовъ до конца дежурства, неизбѣжно приходилось прибѣгать къ возбудителю, и Макаръ, улучивъ минуту, поплелся въ буфетъ. Плеская водку дрожащей рукой, онъ опрокинулъ одну рюмку, другую. И тогда разомъ кругомъ посвѣтлѣло, предметы стали выпуклѣе и рѣзче бросались въ глаза..

— Никакъ не съѣлъ, Макаръ? — проговорилъ прожевывая одинъ изъ кондукторовъ.

И вдругъ гдѣ-то сидѣвшая въ глубинѣ горечь, ѣдкое чувство обиды и попраннаго человѣческаго достоинства, задѣтыя неосторожнымъ вопросомъ, прорвались нестерпимой болью.

— Да што-жъ ты думаешь, онъ имѣетъ полное право бить, значитъ, по мордѣ?Кто такія права ему давалъ? Такихъ правовъ нѣтъ. А ежели я да не стерплю? а? нѣтъ, ты скажи, ежели не стерплю я, а? ежели я да протоколъ составлю да въ судъ подамъ,а?

— Не подашь, — спокойно догрызая рыбій хвостъ, проговорилъ кондукторъ.

Это подлило масла въ огонь. Макаръ вспыхнулъ.

— Не подамъ? не подамъ? нѣтъ, подамъ! потому правовъ такихъ нѣтъ, чтобы морду бить людямъ. Что жъ, я не человѣкъ, скотина што ли? Собаку ткнуть сапогомъ, и та визжитъ, а почему я долженъ молчать? Жандармъ, прошу составить протоколъ. Протоколъ прошу составить, насчетъ бою, т. е. значитъ въ морду далъ дежурный по станціи и раз-

билъ глазъ.

— Ну будетъ, Макаръ, — проговорилъ старшій жандармъ, подходя къ нему и фамильярно кладя руку на плечо. — Ну что толку, составишь протоколъ, тебя же заразъ и выгонятъ. Полинялъ что ли ты отъ этого, а что насчетъ глазу, такъ это одинъ пустякъ: возьми свинцовой примочки на пятачокъ, завтра къ обѣду ничего не будетъ. Да и протоколъ составлять не буду.

Макаръ было уже согласился съ доводами жандарма, но послѣднія слова взорвали его.

— Какъ! протокола не составите! Что это за порядки! господа, будьте свидѣтелями, господинъ жандармъ не хочетъ протокола составить, что мнѣ морду избили.

Жандармъ поморщился.

— Ну, ступай въ дежурную. На свою голову составляешь!

Протоколъ былъ составленъ.

Опять бѣгаетъ Макаръ, трубитъ въ рожокъ, накидываетъ вагонные крюки, и хотя съ трудомъ вытаскиваетъ вязнущія въ пескѣ ноги, но кажется ему, что ноги стали длиннѣе, выросли и шагали широко и увѣренно. И кругомъ стало веселѣй и просторнѣй, весело накатываются и звенятъ буферами вагоны, весело посвистываетъ гдѣ-то далеко впереди паровозъ. Та горечь, ноющая боль, что сверлила гдѣ-то въ глубинѣ души, пропала, и пропала она въ тотъ самый моментъ, какъ онъ своей закорузлой, черной отъ нефти и грязи, дрожавшей отъ усталости рукой вывелъ каракулами подъ протоколомъ: Макаръ Чушкинъ.

Уже посѣрѣло небо, уже въ рѣдѣвшемъ сумракѣ стали выступать невидные дотолѣ дальніе вагоны, станціонныя зданія, депо, столбы телеграфные, во-

докачка.

— Ма-ка-а-аръ..... — пронеслось въ утреннемъ воздухѣ.

Макаръ пріостановился:

— Никакъ кличутъ?

— Ма-а-ка-аръ!... — донеслось опять съ платформы и потерялось между станціонными зданіями, между вагонами, которые были теперь всѣ видны, какъ на ладони.

Макаръ бѣгомъ направился къ станціи.

— Иди, начальникъ кличетъ.

Держа шапку въ рукахъ, онъ робко вошелъ въ комнату начальника. Тутъ же былъ и дежурный по станціи.

— Ты протоколъ составилъ?

— Я, ваше благор.... это я, значитъ, такъ.... для примѣру только..... я его сейчасъ же порву, ваше благородіе...... — проговорилъ Макаръ, заикаясь, блѣдный, какъ полотно.

— Вонъ. Завтра получишь расчетъ.

Макаръ стоялъ какъ громомъ пораженный.

— Тебѣ говорятъ, сейчасъ же вонъ!.

И начальникъ взялъ его за плечи, повернулъ и вытолкнулъ изъ комнаты.

Макаръ ничего не видѣлъ, не слышалъ, не соображалъ. Онъ механически перешелъ черезъ полотно и оглядѣлся помутившимся взоромъ.

Солнышко взошло и стояло невысоко надъ землей, утреннія тѣни тянулись отъ вагоновъ, столбовъ, землянокъ, станціонныхъ зданій.

Какъ и вчера, зеленѣлъ могучій степной просторъ, синѣла даль и звучала радостныя неслышныя пѣсни веснѣ. Вдали маячили кибитки калмыковъ, и по степи гнали табунъ лошадей. Надъ полотномъ въ разныхъ мѣстахъ бѣлымъ паромъ курились

паровозы. Все было по-старому, но Макару казалось, что онъ идетъ среди развалинъ и кругомъ лежатъ груды обломковъ.

Надъ депо бѣлой струей вырвался паръ, и гудокъ далеко зазвучалъ по степи. Это теперь Макаръ покончилъ бы дежурство и отправился бы къ себѣ домой.

А развѣ теперь онъ не идетъ домой?

Макаръ постоялъ съ минуту на одномъ мѣстѣ и пошелъ.... къ Семенычу.... .

Черезъ полчаса онъ вышелъ оттуда, качаясь во всѣ стороны, точно на палубѣ во время шторма: прорванныхъ сапогъ на ногахъ у него не было. И онъ направился къ своему вагону, разсуждая самъ съ собой пьянымъ голосомъ:

— Почему? въ такомъ смыслѣ? морда, напримѣръ,.. значитъ, чтобы бить ее... Ты што такое? Сопля, тьфу, растеръ — и нѣтъ ничего. И прравильно!... на то начальники, а ты слуха его и производи какія распоряженія отъ него есть, и не думай о себѣ много. Што такое, съѣздишъ разъ? это даже за честь почитай, потому что они начальники тебѣ, т. е. замѣсть отца, стало быть. Тебя въ морду, а ты кланяся ниже, благодари, потому что для тебя же, дурака, для твоей же пользы.....

Хозяйка увидѣла издали Макара.

— Пяный! головушка ты моя бѣдная! Ребятышки, бѣгите отсюда, вишь рукамі размахиваетъ, кабы драться не сталъ.

Макаръ, качаясь изъ стороны въ сторону, точно его валяло то туда, то сюда, босой, подошелъ и безсильно опустился на стоявшій возлѣ ящикъ съ углемъ. .

Хозяйка глянула ему на ноги и такъ и всплеснула руками:

— И сапоги пропилъ! окаянная ты сила, съ ума ты сошелъ что ли? Вымоталъ ты душу мою грѣшную, кровопивецъ, губитель ты, извергъ ты нашъ несчастный. И наказалъ же Господь каторгой! у людей мужики, какъ мужики: ну, не безъ того, и выпьютъ когда, да не тянутъ же изъ дому, а этотъ, что подъ руку ни попадется, все въ кабакъ.

Къ удивленію, Макаръ не только не бросился на нее бить за это, а заплетающимся, коснѣющимъ языкомъ подозвалъ оробѣвшихъ дѣтишекъ и, обдавая ихъ запахомъ перегорѣлой сивухи, сталъ глядѣть по бѣлокурымъ головкамъ закорузлой, грязной, въ нефти рукой:

— Соколятки мои,поросяточки.... н... ничего, привыкайте, набалованы, каждый день ѣли.... теперя привыкайте, штобъ, значитъ, съ передышкой.... потому кажный день намъ исть никакъ нельзя, не полагается, не туда рыломъ вышли... и... ничего, попостите, анъ привыкнете, до всего можно дойтить, значитъ, своимъ умомъ.... ежели человѣкъ умный, то онъ можетъ исть черезъ день тамъ, скажемъ, или черезъ два, потому человѣкъ созданіе Божіе, все онъ превзошелъ.... Милые мои соколяточки.... глазеночки-то лупаютъ, ничего не понимаютъ,—и Макаръ ронялъ пьяныя слезы на лица притихшихъ ребятишекъ.

Хозяйка стояла какъ онѣмѣлая: она не знала, что произошло, но въ словахъ мужа слышалось что-то грозное и неумолимое.

———«о»———

МОЛИТВА.

МОЛИТВА.

...Знаетъ Отецъ вашъ,
въ чемъ вы имѣете нужду,
прежде вашего прошенія....
Маѳ. VI, 8.

— Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Это не можетъ быть... Докторъ! Да развѣ ничего нельзя? Да что же вы молчите всѣ?!....

Такъ говорила молодая мать, выходя большими, рѣшительными шагами изъ дѣтской, гдѣ умиралъ отъ водянки въ головѣ ея первый и единственный трехлѣтній мальчикъ.

Тихо разговаривавшіе между собою мужъ и докторъ замолчали. Мужъ робко подошелъ къ ней, ласково коснулся рукой ея растрепанной головы и тяжело вздохнулъ. Докторъ стоялъ, опустивъ голову, своимъ молчаніемъ и неподвижностью показывая безнадежность положенія.

— Что жѐ дѣлать!—сказалъ мужъ.—Что же дѣлать, милая.

— Ахъ, не говори, не говори!—вскрикнула она какъ будто злобно, укоризненно и, быстро повернувшись, пошла назадъ въ дѣтскую.

Мужъ хотѣлъ удержать ее.

— Катя! не ходи.... .

Она и не отвѣчая, взглянула на него большими усталыми глазами и вернулась въ дѣтскую.

Мальчикъ лежалъ на рукѣ няни съ подложенной подъ голову бѣлой подушкой. Глаза его были открыты, но онъ не глядѣлъ ими. Изъ сжатаго ротика пузырилась пѣна. Няня

съ строгимъ, торжественнымъ лицомъ смотрѣла куда-то мимо его лица и не пошевелилась при вздохѣ матери. Когда мать вплоть подошла къ ней и подсунула руку подъ подушку, чтобы перенять ребенка отъ няни, няня тихо сказала: «Отходитъ», и отстранилась отъ матери. Но мать не послушалась ее и ловкимъ, привычнымъ движеніемъ взяла мальчика себѣ на руки. Длинные вьющіеся волосы мальчика запутались. Она оправила ихъ и взглянула въ его лицо.

— Нѣтъ, не могу,—прошептала она и быстрымъ, но осторожнымъ движеніемъ отдала его нянѣ и вышла изъ комнаты.

Ребенокъ болѣлъ вторую недѣлю. Все время болѣзни мать по нѣскольку разъ въ день переходила отъ отчаянія къ надеждѣ. Во все это время она спала едва ли полтора часа въ сутки. Все это время она, не переставая, по нѣскольку разъ въ день уходила въ свою спальню, становилась передъ большимъ образомъ Спасителя въ золотой ризѣ и молилась Богу о томъ, чтобы Онъ спасъ ея мальчика. Чернолицый Спаситель держалъ въ маленькой черной рукѣ золоченную книгу, на которой чернью было написано: «Приди-

те ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные и Я упокою васъ». Стоя передъ этимъ образомъ, она молилась, всѣ силы своей души вкладывала въ свою молитву. И хотя въ глубинѣ души и во время молитвы она чувствовала, что не сдвинетъ горы и что Богъ сдѣлаетъ не по ея, а по Своему, она все-таки молилась, читала извѣстныя молитвы, которыя она сочиняла и говорила вслухъ съ особеннымъ напряженіемъ.

Теперь, когда она поняла, что онъ умеръ, она почувствовала, что въ головѣ ея что-то сдѣлалось, какъ будто сорвалось что-то и стало кружиться, и она, придя въ свою спальню, съ удивленіемъ оглянулась на всѣ свои вещи, какъ будто не узнавая ихъ. Потомъ легла на кровать и упала головой не на подушку, а на сложенный халатъ мужа, и потеряла сознаніе.

И вотъ во снѣ она видитъ, что ея Костя, здоровый, веселый, сидитъ, со своими кудрявыми волосами и тонкой бѣлой шейкой, на креслицѣ, болтаетъ пухлыми въ икрахъ ножками и, выпятивъ губки, старательно усаживаетъ куклу-мальчика на картонную

лошадку безъ одной ноги и съ проткнутой спиной.

«Какъ хорошо, что онъ живъ», думаетъ она». «И какъ жестоко то, что онъ умеръ. Зачѣмъ? Развѣ могъ Богъ, Которому я такъ молилась, допустить, чтобы онъ умеръ? Зачѣмъ это Богу? Развѣ онъ мѣшалъ кому нибудь? Развѣ Богъ не знаетъ, что въ немъ вся моя жизнь, что я не могу жить безъ него? И вдругъ взять и измучить это несчастное, милое, невинное существо и разбить мою жизнь, и на всѣ мои мольбы отвѣчать тѣмъ, чтобы у него остановились глаза, чтобы онъ вытянулся, захолодѣлъ, закостенѣлъ». И она опять видитъ. Вотъ онъ идетъ. Такой маленькій, въ такія высокія двери идетъ, размахивая ручонками, какъ большіе ходятъ. И глядитъ, и улыбается.... Милый! Иего-то Богъ хотѣлъ измучить и уморить! Зачѣмъ же молиться Богу, если Онъ можетъ дѣлать такіе ужасы?»

«И вдругъ Матреша, дѣвочка, помощница няни, начинаетъ что-то говорить очень стран ное. Мать знаетъ, что это Матреша, а вмѣстѣ съ тѣмъ она—и Матреша, и Ангелъ. «А

если она ангелъ, то отчего у нея нѣтъ за спиной крыльевъ?» думаетъ мать. Впрочемъ, она вспоминаетъ, что кто-то—она не помнитъ кто, но кто-то, заслуживающій довѣрія — говоритъ ей, что ангелы бываютъ теперь и безъ крыльевъ. И ангелъ Матреша говоритъ:
—Напрасно вы, сударыня, на Бога обижаетесь, Ему никакъ нельзя всѣхъ слушать. Они часто о такомъ просятъ, что одному сдѣлаешь, другого обидишь. Вотъ сейчасъ. По всей Россіи молятся, да какіе люди! Самые первые архіереи, монахи въ соборахъ, въ церквахъ надъ мощами,—всѣ молятся, чтобы Богъ далъ побѣды надъ японцами. А вѣдь это развѣ хорошее дѣло? И молиться объ этомъ не годится, да и годить-то Ему никому нельзя. Японцы тоже молятся, чтобы имъ побѣдить. А вѣдь Онъ одинъ у насъ Батюшкака. Какъ же Ему быть?

«—Какъ же Ему быть, барыня? — говоритъ Матреша.

«— Да, это такъ. Это старое. Это еще Вольтеръ говорилъ. Всѣ это знаютъ и всѣ говорятъ. Я не объ этомъ. А отчего же Онъ не можетъ исполнить просбу, когда я прошу не о вредномъ о чемъ-нибудь, а только о

томъ, чтобы не уморить моего милаго мальчика? А вѣдь безъ него жить не могу, — говорить мать и чувствуетъ, какъ онъ обнимаете ее за шею своими пухлыми рученками, и она своимъ тѣломъ чувствуетъ его тепленькое тѣльце. «Хорошо, что это не случилось», думаетъ она.

«— Да вѣдь не одно это, барыня,—пристаетъ Матреша такъ же безтолково, какъ всегда,—вѣдь не одно это. Бываетъ, что и одинъ проситъ, да никакъ невозможно сдѣлать ему того, что онъ хочетъ. Намъ это вполнѣ извѣстно. Я-то вѣдь знаю, потому что я докладываю,—говоритъ Матреша-ангелъ точно такимъ голосомъ, какимъ она вчера, когда барыня посылала ее къ барину, говорила нянѣ:—Я-то знаю, что баринъ дома, потому что я докладывала.

«— Сколько разъ приходилось докладывать,—говоритъ Матреша,—что вотъ хорошій человѣкъ (изъ молодыхъ все больше) проситъ помочь ему, чтобы онъ дурныхъ дѣлъ не дѣлалъ, не пьянствовалъ, не распустничалъ, проситъ, чтобы изъ него, какъ занозу, вынули порокъ.

«Какъ однако хорошо говоритъ Матреша» —думаетъ барыня.

«—А Ему никакъ нельзя этого, потому каждому надо самому стараться. Только отъ старанія и польза бываетъ. Вы сами, барыня, давали мнѣ читать сказку о черной курицѣ. Тамъ разсказано, какъ мальчику черная курица дала за то, что онъ ее спасъ отъ смерти, волшебное конопляное зернышко, такое, что пока оно у него въ штанахъ въ карманѣ лежало, онъ не уча всѣ уроки зналъ, и какъ онъ отъ этого самаго зернышка совсѣмъ пересталъ учиться и память потерялъ. Нельзя Ему, Батюшкѣ, изъ людей вынимать зло. И имъ не просить объ этомъ надо, а самимъ вырывать, вымывать, вывертывать его изъ себя.

«Откуда она эти слова знаетъ?! думаетъ барыня и говоритъ:

«— Ты все-таки, Матреша, не отвѣчаешь мнѣ на вопросъ.

«— Дайте срокъ, все скажу, — говоритъ Матреша. — А то и такъ бываетъ: докладываю, что разорилась семья не по своей

винѣ, всѣ плачутъ, вмѣсто хорошихъ комнатъ живутъ въ углѣ, даже чаю нѣтъ, просять хоть какъ-нибудь помочь имъ. И то же никакъ нельзя Ему сдѣлать по ихнему, потому Онъ знаетъ, что это имъ не на пользу. Они не-видятъ, а Онъ, Батюшка, знаетъ, что если бы они въ достаткѣ жили, они бы вздрызгъ узбаловались.

«Это правда», думаетъ барыня. «Но зачѣмъ же она такъ вульгарно выражается о Богѣ? Вздрызгъ.... это совсѣмъ не хорошо. Непремѣнно скажу ей при случаѣ»,

«— Но я не про то спрашиваю,—повторяетъ опять мать. — Я спрашиваю: зачѣмъ, за что хотѣлъ это твой Богъ взять и меня моего ребенка? — И мать видитъ передъ собой своего Костю живого и слушаетъ его, какъ колокольчикъ звонкій, дѣтскій, его особенный милый смѣхъ. — Зачѣмъ они взяли его у меня? Если Богъ могъ это сдѣлать, то Онъ злой, дурной Богъ и совсѣмъ не надо Его и не хочу знать Его.

«И что же это такое: Матреша уже совсѣмъ не Матреша, а какое-то совсѣмъ дру-

гое, новое, странное, неясное существо, и говоритъ это существо не устами вслухъ, а какимъ-то особеннымъ способомъ, прямо въ сердцѣ матери.

«— Жалкое ты, слѣпое и дерзкое, зазнавшееся созданіе,—говоритъ это существо.— Ты видишь своего Костю, какимъ онъ былъ недѣлю тому назадъ, съ своими крѣпенькими, упругими членами и длинными вьющимися волосами и съ наивной, ласковой и осмысленной рѣчью. Но развѣ онъ всегда былъ такой? Было время, когда ты радовалась, что онъ выговариваетъ «мама» и «баба» и понимаетъ кто-то; а еще прежде ты восхищалась тѣмъ, что онъ стоялъ дыбочки и, качаясь, перебѣгаетъ мягко ножками къ стулу, а еще прежде всѣ восхищались тѣмъ, что онъ, какъ звѣрокъ, ползалъ по залѣ, а еще прежде радовались, что онъ узнаетъ, что держитъ безвосую головку съ дышащимъ темечкомъ, а еще прежде восхищались тѣмъ,

что беретъ сосокъ и нажимаетъ его своими беззубыми деснами. А еще прежде радовались, что онъ, весь красный и еще не отдѣленный отъ тебя, жалостно кричитъ, обновляя свои легкія. А еще прежде, за годъ, гдѣ былъ онъ, когда его совсѣмъ не было? Вы всѣ думаете, что вы стоите и что вамъ и тѣмъ, кого вы любите, слѣдуетъ всегда быть такими, какими они сейчасъ. Но вѣдь вы не стоите ни минуты, всѣ вы течете какъ рѣка, всѣ летите, какъ камень книзу, къ смерти, которая, рано или поздно, ждетъ всѣхъ васъ. — Какъ же ты не понимаешь, что если онъ изъ ничего сталъ тѣмъ, что онъ былъ, то онъ не остановился бы и ни минуты не оставался бы такимъ, какимъ былъ, когда умеръ; а какъ изъ ничего сдѣлался сосункомъ, изъ сосунка сдѣлался ребенкомъ, такъ изъ ребенка сдѣлался бы мальчикомъ, школьникомъ, юношей, молодымъ человѣкомъ, взрослымъ, старѣйщимъ, старымъ. Ты вѣдь не знаешь, чѣмъ онъ былъ бы, если бы остался живъ. А я знаю.

«И вотъ мать видитъ въ отдѣльномъ, ярко освѣщенномъ электричествомъ, кабинетѣ ресторана (одинъ разъ мужъ возилъ ее въ

такой ресторанъ), передъ столомъ съ остатками ужина видитъ одутловатаго, морщинистаго, съ подведенными къ верху усами, противнаго, молодящагося старика. Онъ сидитъ, глубоко затонувъ въ мягкомъ диванѣ, и пьяными глазами жадно оглядываетъ развращенную, подкрашенную, съ оголенной, бѣлой, толстой шеей женщину и пьянымъ языкомъ выкрикиваетъ, повторяя нѣсколько разъ, неприличную шутку, очевидно довольный одобрительнымъ хохотомъ такой же другой, какъ они, пары.

«— Неправда, это не онъ, это не мой, Костя! — вскрикиваетъ мать съ ужасомъ, глядя на гадкаго старика, который тѣмъ и ужасенъ, что то есть въ его взглядѣ, въ его губахъ, напоминающее особенное Костино. «Хорошо, что это сонъ», думаетъ она. Костя настоящій вотъ онъ. И она видитъ бѣленькаго, голенькаго, съ пухлыми грудками Костю, какъ онъ сидитъ въ ваннѣ и, хохоча, болтаетъ ножонками, не только видитъ, но чувствуетъ, какъ вдругъ онъ охватываетъ ея обнаженную по локотъ руку и цѣлуетъ, цѣлуетъ и подъ конецъ кусаетъ ее, не зная, что бы ему еще сдѣлать съ этой милой ему рукой.

«Да, вотъ это Костя, а не тотъ ужасный старикъ», говоритъ она себѣ. И на этихъ словахъ просыпается и съ ужасомъ признаетъ дѣйствительность, отъ которой уже некуда проснуться.

Она идетъ въ дѣтскую. Няня уже обмыла и убрала Костю. Съ восковымъ и утончившимся носикомъ, съ ямочками у ноздрей и приглаженными отъ лба волосками, онъ лежитъ на какомъ-то возвышеніи. Вокругъ горятъ свѣчи и стоятъ на столикѣ въ головахъ бѣлые, лиловые и розовые гіацинты. Няня поднимается со стула и, поднявъ брови и вытянувъ губы, смотритъ на поднятое къ верху каменно-неподвижное личико. Изъ другой двери навстрѣчу матери входитъ Матреша съ своимъ простымъ, добродушнымъ лицомъ и заплаканными глазами.

«Какъ же она мнѣ говорила, что нельзя огарчаться, а сама плакала!», думаетъ мать. И она переводитъ свой взглядъ на покойника. Въ первую минуту ее поражаетъ и отталкиваетъ ужасное сходство мертваго личика съ тѣмъ лицомъ старика, котораго она видѣла во снѣ, но она отгоняетъ эту мысль и, перекрестившись, притрогивается теплыми губами къ холодному, восковому лобику, по-

томъ цѣлуетъ сложенныя оставшія маленькія ручки, и вдругъ запахъ гіацинтовъ какъ будто что-то новое говоритъ ей о томъ, что его нѣтъ и никогда больше не будетъ, и ее душатъ рыданія, и она еще разъ цѣлуетъ его въ лобъ и въ первый разъ она плачетъ. Она плачетъ, но плачетъ не безнадежными, но покорными, умиленными слезами. Ей больно, но она уже не возмущается, не жалуется, а знаетъ, что то, что было, должно было быть, и потому было хорошо.

— Грѣхъ, матушка, плакать, — говоритъ няня и, подойдя къ маленькому покойнику, вытираетъ сложеннымъ платочкомъ слезы матери, оставшіеся на восковомъ лбу Кости. — Отъ слезъ его душенькѣ тяжело будетъ. Ему хорошо теперь. Ангельчикъ безгрѣшный. А живъ бы былъ, кто знаетъ, что бы было.

— Такъ, такъ, а все-таки больно, больно! — говоритъ мать.

Конецъ.

НА ПЛОТАХЪ.

I.

...Грузныя тучи медленно ползутъ надъ сонной рѣкой; кажется, что онѣ спускаются все ниже и ниже; кажется, что вдали ихъ сѣрые лохмотья коснулись поверхности быстрыхъ и мутныхъ весенныхъ волнъ, и что тамъ, гдѣ они коснулись воды — встала до небесъ непроницаемая стѣна облаковъ, заградившая собою теченіе рѣки и путь плотамъ.

И волны, безуспѣшно подмывая эту стѣну, бьются о нее съ тихимъ, жалобнымъ рокотомъ, бьются и, отброшенныя ею, разбѣгаются вправо и влѣво, гдѣ лежитъ сырая тьма весенней, свѣжей ночи.

Но плоты плывутъ впередъ, и даль отодвигается предъ ними въ пространство, полное тяжелыхъ облачныхъ массъ.

Береговъ не видать — ихъ скрыла ночь и оттолкнули куда-то широкія волны разлива.

Рѣка — какъ море. И небо надъ нею, все окутанное облаками, тяжело, сыро и скучно.

Ни воздуха, ни яркихъ красокъ нѣтъ въ этой сѣрой мутной картинѣ.

Плоты скользятъ по водѣ быстро и безшумно, а навстрѣчу имъ изъ тьмы выдвигается пароходъ, выбрасывая изъ трубы веселую толпу искръ и глухо ударяя по водѣ плицами колесъ...

Два красныхъ фонаря на отводахъ все увеличиваются, становятся ярче, а фонарь на мачтѣ тихо покачивается изъ стороны въ сторону и таинственно подмигиваетъ тьмѣ.

Пространство наполнено шумомъ разбиваемой воды и тяжелыми вздохами машины.

— По-оглязывай — раздается на плотахъ сильный грудной окликъ.

У рулевыхъ веселъ, въ хвостѣ плота, стоятъ двое: Митя — сынъ сплавщика, русый, хилый, задумчивый парень лѣтъ 22-хъ, и Сергѣй — работникъ, хмурый, здоровый дѣтина въ рыжей бородѣ; изъ ея рамки выдаются крѣпкіе, крупные зубы, не закрытые верхней губой, насмѣшливо вздернутой кверху.

— Клида лѣво! — снова сотрясаетъ тьму громкій крикъ спереди плотовъ.

— Знамъ и сами! чего орешь? — недовольно ворчитъ Сергѣй и, вздыхая, наваливается грудью на весло.

— О — ухъ! Вороти крѣпче, Митюкъ!

Митрій, упираясь ногами въ сырыя бревна, тянетъ къ себѣ тонкими руками тяжелую жердь — руль и хрипло кашляетъ...

— Гни!... бери лѣвѣ!... черти, дьяволы! — кричатъ спереди тревожно и озлобленно.

— Ори! Твой-то чахлый сынъ соломину о колѣно не переломитъ, а ты его на руль ставишь, да и орешь потомъ на всю рѣку. Жали было еще работника нанять кощею-снохачу. Ну, и рви теперь глотку-то!..

Сергѣй ворчитъ уже громко, очевидно, не опасаясь, что его услышатъ, и даже какъ бы желая этого.

Пароходъ мчится мимо плотовъ, съ ропотомъ выметывая изъ-подъ колесъ пѣнистыя волны. Бревна раскачиваются на водѣ, и скрученныя изъ сучьевъ связи скрипятъ жалобнымъ и сырымъ звукомъ.

Освѣщенныя окна парохода смотрятъ на рѣку и плоты, какъ рядъ огненныхъ глазъ, отражаются на взволнованной водѣ свѣтлыми, трепещущими пятнами и исчезаютъ.

Волны сильно плещутъ на плоты, бревна прыгаютъ, и Митрій, показиваясь на ногахъ, крѣпко прижимается къ рулю, боясь упасть.

— Ня, ну! — насмѣшливо бурчитъ Сергѣй, заплясалъ. Вотъ отецъ-то гаркнетъ тебѣ опять... А то пойдетъ, да всадитъ тебѣ въ бокъ-то раза, тогда не такъ запляшешь! Бери право! Оой — ну! О, о!..

И упругими, какъ стальныя пружины, руками Сергѣй мощно ворочаетъ свое весло, глубоко разрывая имъ воду...

Энергичный, высокій, немного злой и насмѣшливый, онъ стоитъ такъ, точно присосъ къ бревнамъ босыми ногами, и въ напряженной позѣ, готовый каждую секунду поворотить плоты, зорко смотритъ впередъ.

— Ишь, отецъ-то у тебя какъ обнимаетъ Марьку то! Ну-ну, и дьяволы же! Ни стыда, ни совѣсти! и чего ты, Митрій, не уйдешь куда отъ нихъ, чертей поганыхъ?.. а? Слышь, что ли?

— Слышу! — вполголоса говоритъ Митрій, не глядя туда, гдѣ Сергѣй, сквозь тьму, видитъ его отца.

— Слышу! Эхъ, ты тюря! — дразнится Сергѣй и иронически хохочетъ.

— Дѣла! — продолжаетъ онъ, подзадориваемый апатіей Митрія. — Ну, и старикъ — чортъ! Женилъ сына, отбилъ сноху и правъ! Старый галманъ!

Митрій молчитъ и смотритъ назадъ по рѣкѣ, гдѣ тоже образовалась стѣна густыхъ облаковъ.

Теперь облака вездѣ, и кажется, что плоты не плывутъ, а неподвижно стоятъ въ этой густой и черной водѣ, подавленной тяжелыми темносырыми грудами тучъ, упавшими въ нее съ неба и заградившими ей путь.

Рѣка кажется бездоннымъ омутомъ, со всѣхъ сторонъ окруженнымъ горами, высокими до неба и одѣтыми густымъ покровомъ тумана.

Кругомъ — томительно тихо, и вода точно ждетъ чего-то, слабо поплескивая на плоты. Много грусти, и какой-то робкій вопросъ слышится въ этомъ бѣдномъ звукѣ, единственномъ среди ночи и еще болѣе оттѣняющемъ ея тишину...

— Вѣтру бы теперь дунуть... — говоритъ Сергѣй. — Нѣтъ, не надо вѣтру — потому онъ дождя нагонитъ, — возражаетъ онъ самъ себѣ и начинаетъ набивать трубку, покряхтывая.

Вспыхиваетъ спичка, слышно хрипѣніе въ засоренномъ чубукѣ, и красный огонекъ, то разгораясь, то угасая, освѣщаетъ какъ бы ныряющее во тьмѣ широкое лицо Сергѣя.

— Митрій! — раздается его голосъ. Теперь онъ менѣе угрюмъ и въ немъ яснѣе звучитъ смѣшливая нота.

— А? — вполголоса отвѣчаетъ Митрій не отводя глазъ изъ дали, гдѣ онъ пристально разсматриваетъ что-то своими большими и грустными глазами.

— Какъ же это, братъ ты мой, а?

— Чего? — отзывается Митрій недовольно.

— Женился-то?! Смѣхи! Какъ это было-то? Ну, пошли вы, значитъ, съ женой спать? Ну, какъ же?! Ха, ха, ха!

— Эй, вы! Ржете тамъ! По-оглядыва-ай! —угрожающе пронеслось надъ рѣкой.

— Ишь, реветъ, снохачъ анаѳемскій! — восхищеніемъ отмѣчаетъ Сергѣй и снова возвращается къ интересующейся его темѣ.

— Ну, скажи, что ли? Мить! Скажи ужъ, чай! а?

— Отстань, Сестра! — говорилъ ужъ вѣдь! — просительно шепчетъ Митрій; но, должно быть, зная, что отъ Сергѣя не отвяжешься, торопливо начинаетъ:

— Ну, пришли мы спать. Я и говорю ей: не могу, молъ, я мужевать съ тобой. Марья. Ты дѣвка здоровая, а человѣкъ больной, хилый. И совсѣмъ, молъ, я жениться не желалъ, а батюшка, молъ, силкомъ меня Женись, говоритъ, да и все! Я, молъ, вашу сестру не люблю, а тебя больше всѣхъ. Байка больно... Да... И ничего я этого не могу... понимаешь... Пакость одна, да грѣхщ... Дѣти тоже... За нихъ отвѣтъ Богу дать надо...

— Пакость! — взвизгиваетъ Сергѣй и громогла-

сно хохочетъ. — Ну, и что жъ она, Марька-то? а?

— Ну... Что же, говоритъ, мнѣ дѣлать теперь? Плачетъ сидитъ. Чѣмъ, говоритъ, я тебѣ не по сердцу? Али, говоритъ, я уродина какая? Безстыдница она, Серега!... и злая. Что же, говоритъ, мнѣ съ моимъ здоровьемъ къ свекру что ли идти? Я говорю: какъ хошь, молъ... Куда хошь иди. Мнѣ, молъ, супротивъ души невозможно поступить... Любовь кабы была! А такъ — что же? Дѣдушка Иванъ говоритъ — смертный грѣхъ это дѣло. Скоты мы съ тобой, что ли, молъ? Плачетъ все. Загубили, говоритъ, мою дѣвичью красоту. Жалко ее было мнѣ. Ничего, молъ, какънибудь обойдесся. А то, молъ, въ монастырь иди. Она ругаться: дуракъ ты, говоритъ, Митька, подлецъ...

— А, б-батюшки! — восхищеннымъ шопотомъ шипитъ Сергѣй. — Такъ ты ей и отколол̃ъ — въ монастырь?

— Такъ и сказалъ! — просто говоритъ Митя.

— А она тебя — дуракомъ? — повышаетъ тонъ Сергѣй.

— Да... обругала.

— За дѣло, братъ! А-ахъ и за дѣло! Вздуть бы еще надо! — вдругъ мѣняетъ тонъ Сергѣй. Теперь онъ говоритъ строго и внушительно.

— Развѣ ты можешь супротивъ закону идти? А ты — пошелъ! Установлено — ну, значитъ, и шабашъ! Не моги споритъ. А ты на-ко-ся! Экъ выворотилъ корягу. Въ монастырь! Дурья голова! Вѣдь дѣвкѣ-то что надо? Али монастырь? Ну, и люди нынче! Ты подумай — что вышло? Самъ ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-ре-ку, дѣвку погубилъ... полюбовницей стариковой стала — старика во грѣхъ снохаческій ввелъ. Сколько ты закона нарушилъ? Го-олова!

— Законъ-то, Сергѣй, въ душѣ. Одинъ законъ про всѣхъ: не дѣлай такого, что противъ души твоей, и никакого ты худа на землѣ не сдѣлаешь, — тихо и умиротворяюще проговорилъ Митрій, тряхнувъ головой.

— А ты вотъ сдѣлалъ! — энергично возразилъ Сергѣй. — Въ душѣ! Экъ тоже... Мало ли что въ душѣ-то есть. Всему запрета не полагать — нельзя. Душа, душа... Ее, братъ, понимать надо, а потомъ уже и того...

— Нѣтъ, ты это не такъ, Сергѣй! — горячо заговорилъ Митрій, точно вспыхнулъ вдругъ. — Душа-то, братъ, всегда чиста, какъ росинка. Въ скорлупкѣ она, вотъ что! Глубоко она. А коли ты къ ней прислушаешься, такъ не ошибешься. Всегда по-божески будетъ, коли по душѣ сдѣлано. Въ душѣ вѣдь Богъ-то, и законъ, значитъ, въ ней. Богомъ она создана, Богомъ въ человѣка вдунута. Нужно только въ нее заглянуть. Нужно только не жалѣючи себя...

— Эй, вы! Деймоны сонные! Гляди въ оба! — раскатисто загремѣло и поплыло по рѣкѣ.

По силѣ звука чувствовалось, что кричалъ человѣкъ здоровый, энергичный, довольный собой, человѣкъ съ большой и ясно сознанной имъ жизнеспособностью. Кричалось не потому, что окрикъ былъ вызванъ сплавщиками, а потому, что душа была полна чѣмъ-то радостнымъ и сильнымъ, и оно — это радостное и сильное — просилось вонъ, на волю, и вотъ — вырвалось въ этомъ гремящемъ, энергичномъ звукѣ.

— Ишь, какъ тявкнулъ, старый чортъ! — съ удовольствіемъ отмѣтилъ Сергѣй и зорко посмотрѣлъ впередъ, усмѣхаясь.

— Милуются голубки! Завидно не бываетъ, Митька?

Митрій равнодушно посмотрѣлъ туда, къ переднимъ весламъ, гдѣ двѣ человѣческія фигуры перебѣгали по плотамъ справа налѣво и, останавливаясь близко другъ къ другу, иногда сливались въ одну плотную, темную массу.

— Не завидно, молъ? — повторилъ Сергѣй.

— Что мнѣ? Ихъ грѣхъ — ихъ отвѣтъ тихо сказалъ Митя.

— Та-акъ! — иронически протянулъ Сергѣй и подложилъ табаку въ трубку. Снова во тьмѣ заблестѣлъ красный огонекъ.

А ночь становилась все гуще, и сѣрыя тучи, черныя, все ниже спускались надъ тихой, широкой рѣкой.

— Гдѣ жъ это ты, Митрій, нахваталъ такой мудрости великой, а? Али ужъ у тебя это врожденная? Не въ отца ты, братокъ. Герой у тебя отецъ-отъ. Смотри-ка — 48 годовъ ему, а онъ какую кралечку милуетъ! Сокъ одинъ баба. И любитъ она его, — что ужъ тутъ! Любитъ, братъ. Нельзя не любить такого. Король козырей, бардадынъ отецъ-отъ у тебя. Работаетъ — любо глядѣть, достатокъ большой; почета — хошь отбавляй, и голова на мѣстѣ. Н-да. А ты вотъ ни въ мать, ни въ отца. — Мить? А что бы отецъ-отъ сдѣлалъ, кабы покойница Анѳиса жива была? Чудно! Посмотрѣлъ бы я, какъ она его... Тоже баба была — бой, матка-то твоя... Подъ пару Сплануто.

Митрій молчалъ, облокотясь на весло и глядя въ воду.

Сергѣй тоже замолчалъ. Спереди плотовъ доносился звонкій женскій смѣхъ. Ему вторилъ басовитый смѣхъ мужчины. Затканныя мглой ихъ фигуры были еле видны Сергѣю, съ любопытствомъ и зорко смотрѣвшему на нихъ сквозь тьму. Можно было видѣть, что мужчина высокъ и стоитъ у весла, широко разставивъ ноги, въ полъ-оборота къ другленкой, маленькой женщинѣ, прислонившейся грудью къ другому веслу саженяхъ въ полутора отъ перваго. Она грозитъ мужчинѣ пальцемъ, разсыпчато и задорно посмѣиваясь. Сергѣй отвернулся со вздохомъ сокушенія и, сосредоточенно помолчавъ, заговорилъ опять:

— Эхма! И ладно же имъ тамъ. Мило! Мнѣ бы вотъ такъ-то, бобылю — шаталѣ! Ни въ жисть бы отъ такой бабы не ушелъ! Эхъ, ты! Такъ бы все и мялъ ее въ рукахъ, не выпускалъ. На, чувствуй, какъ

люблю... Чортъ-те! Не везетъ вотъ мнѣ на бабу... Не любятъ, видно, бабы рыжихъ-то. Н-да. Капризная она — баба эта... А шельма! Жадна жить. Митя! Эй, спишь?

— Нѣтъ, — тихо отвѣтилъ Митя.

— То-то! Какъ же ты, братъ, жизнь проходить будешь! Вѣдь ежели говорить правду — одинъ ты, какъ перстъ. Тяжело! Куда жъ ты себя теперь опредѣлишь? Житья тебѣ настоящаго на людяхъ не найти. Смѣшонъ больно. Али это человѣкъ, который постоять за себя не умѣетъ! Нужно, братъ, зубы да когти. Всякій тебя будетъ забиждать. Рази ты можешь оборониться? Чѣмъ тебѣ оборониться? Эхъ-хэ! Чуденъ! Куда жъ ты?

— Я-то? — вновь встрепенулся Митя. — Я уйду. Я, братъ, осенью нынѣ — на Кавказъ и кончено! Господи! Только бы скорѣе отъ васъ! Бездушные! Безбожные вы люди, бѣжать отъ васъ — одно спасенье! Зачѣмъ вы живете? Гдѣ у васъ Богъ? Слово у васъ одно... Али вы во Христѣ живете? Эхъ вы, волки вы! А тамъ иные люди, живы души ихъ во Христѣ, и сердца ихъ содержатъ любовь и о спасеніи міра страждутъ. А вы? Эхъ, вы! Звѣри, пакость рыкающіе. Есть иные люди. Видѣлъ я ихъ. Звали меня. Къ нимъ и уйду. Книгу святого Писанія принесли мнѣ они. Читай, говоритъ, человѣкъ Божій, братъ нашъ любезный, читай слово истинно... И читалъ я, и обновилась душа моя отъ слова Божія. Уйду. Брошу васъ, волки безумные; — отъ плоти другъ друга питаетесь вы. Анаѳема вамъ!

Митрій говорилъ это страстнымъ шопотомъ и задыхался отъ переполнявшаго его чувства презрительной злобы къ безумнымъ волкамъ и отъ жажды тѣхъ людей, души которыхъ мыслятъ о спасеніи міра.

Сергѣй былъ ошеломленъ, онъ помолчалъ широко открывъ ротъ и держа въ рукѣ свою трубку, подумалъ, оглянулся кругомъ и сказалъ густымъ, угрюмымъ голосомъ.

— Ишь, какъ взъѣлся!.... Злой тоже.... Напрасно челъ книгу-то. Кто ее знаетъ, какая тамъ она? Ну... вали, вали, утекай, а то совсѣмъ испортиться можешь. Айда! бѣги, пока не озвѣрѣлъ совсѣмъ..... А что-жъ это за люди тамъ на Кавказѣ? Монахи? Аль, можетъ, староверы? Они молоканы, что ли? А?

Но Митрій потухъ уже такъ быстро, какъ и вспыхнулъ. Онъ ворочалъ весломъ, задыхаясь отъ усилій, и что-то шепталъ быстро и нервно.

Сергѣй долго ждалъ его отвѣта и не дождался. Его здоровую, несложную натуру давила эта мрачная, мертвенно-тихая ночь, ему хотѣлось напомнить себѣ самому о жизни, будить эту тишину звуками, всячески тревожить и вспугивать это притаившееся созерцательное молчаніе тяжелой массы воды, медленно лившейся въ море, и уныло застывшія въ воздухѣ неподвижныя груды обломковъ. На томъ концѣ плота жили и его возбуждали къ жизни.

Оттуда то и дѣло долеталъ то тихій, довольный смѣхъ, то отрывочныя восклицанія, стушеванныя тишиной и тьмой этой ночи, полныя запаха весны, возбуждавшаго горячее желаніе жить.

— Брось, Митрій, куда воротишь? Ругнетъ старикъ-то, смотри;—замѣтилъ онъ, наконецъ, не вынося болѣе молчанія и вида, что Митрій безцѣльно буравитъ воду весломъ. Митрій остановился, отеръ вспотѣвшій лобъ и замеръ, прислонясь грудью къ веслу и тяжело дыша.

— Мало сегодня пароходовъ, чего-то... Кой часъ плывемъ, а всего одинъ встрѣтился.

И видя, что Митрій не собирается отвѣтить на это замѣчаніе, Сергѣй резонно объяснилъ самъ себѣ:

— Это потому, что навигація еще не открылась. Начинается только еще. И живо мы сплываемъ въ Казань-то—здорово тащитъ Волга. Хребетъ и нея богатырскій— все подниметъ. Ты чего стоишь- Осерчалъ, что ли, а Мить? Эй!

— Ну, что?—недовольно спросилъ Митрій.

— Ничего, чудакъ человѣкъ.... Чего, молъ, молчишь? Думаешь все? Брось. Вредно это человѣку. Эхъ, ты, мудрецъ, мудришь ты, мудришь, а что разума-то у тебя нѣтъ, это тебѣ и невдомекъ! Ха, ха!

И Сергѣй, посмѣявшись, въ сознаніи своего превосходства крѣпко крякнулъ, помолчалъ, засвисталъ было, но оборвалъ свистъ и продолжалъ развивать свою мысль далѣе.

— Думы! Ха! Или это для простого человѣка занятіе? Вонъ, глянь-ко, отецъ отъ твой не мудритъ —живетъ. Милуетъ твою жену, да посмѣивается съ ней надъ тобой, дуракомъ мудрымъ. Такъ-то! Чу, какъ они? Ахъ, ты, дуй ихъ горой! Поди, уже беременна Марька-то! Не бойсь, не въ тебя дите-то будетъ. Такъ-же, надо полагать, ухарь, какъ и самъ Силанъ Петровъ. А твоимъ вѣдь зачислится ребенокъ-то. Дѣла! Ха! Ха! «Тятька»,—скажетъ тебѣ. А ты ему, значитъ, не тятька, а братъ будешь. А тятька-то у него — дѣдушка! Эхъ, ты, ловко! Эки пакосники! А удальцы народы! а? Такъ вѣдь, Митя?

— Сергѣй! — раздался страстный, взволнованный, чуть не рыдающій шопотъ. — Христа ради прошу, не рви ты мою душу, не жги меня, остань! Молчи! Христомъ Богомъ прошу, не говори со мной, не растравляй меня, не соси мою кровь. Брошусь въ рѣку я, грѣхъ ляжетъ на тебя большой! Душу мою загублю я, не трошь ты меня! Богомъ кляну — прошу!...

Тишину ночи разорвалъ болѣзненно-визгливый вопль, и Митрій, какъ стоялъ, опустился на бревна, точно его пришибло что-то тяжелое, упавшее на него сверху изъ угрюмыхъ тучь, нависшихъ надъ черной рѣкой.

— Ну, ну, ну!—боязливо заворчалъ Сергѣй, поглядывая, какъ его товарищъ метался по бревнамъ, точно обожженый огнемъ.

— Чудакъ человѣкъ! Этакій чудакъ.... сказалъ бы, чай.... коли не тово тебѣ.... не этово.....

— Всю дорогу ты мучишь меня.... за что? Ворогъ я тебѣ? а? ворогъ?—горячо шепталъ Митя.....

— Чудакъ ты, братъ! Ахъ, какой чудакъ!—смущенно и обиженно бормоталъ Сергѣй. — Рази я зналъ что? Мнѣ твоя душа невѣдома, чай!

— Забыть я хочу это, пойми! Забыть на всю жизнь! Позоръ мой.... мука лютая... Свирѣпые вы люди! Уйду я! Навѣкъ уйду... Не въ мочь мнѣ...

— Да уходи!....—Гаркнулъ Сергѣй на всю рѣку, подкрѣпилъ восклицаніе громоподобнымъ циничнымъ ругательствомъ и сразу осѣкся, какъ-то съѣжился и присѣлъ, очевидно, тоже подавленный развернувшейся предъ нимъ душевной драмой, не понимать которой теперь—онъ не могъ уже.

— Эй вы! Вамъ орутъ! Оглохли, что ль!? —носился надъ рукой голосъ Силана Петрова.— Что у васъ? Чего лаете? а-эй!

Должно быть, Силану Петрову нравилось шумѣть на рѣкѣ среди тяжелаго молчанія своимъ густымъ и крѣпкимъ басомъ, полнымъ мощнаго здоровья. Окрики слились одинъ за другимъ, сотрясая воздухъ, теплый и сырой, подавляя своей жизненной силой тщедушную фигуру Митрія, уже снова стоявшаго у весла. Сергѣй во всю мочь отвѣчая хозяину, въ то же время вполголоса ругалъ его крѣпкой и соленой русской руганью. Два голоса рвали тишину ночи, будили ее, встряхивали и то сливались въ дону густую ноту, сочную, какъ звукъ большой мѣдной трубы, то, возвышаясь до фальцента, плавали въ воздухѣ, гасли и гибли. Потомъ снова стало тихо.

Сквозь разрывъ въ тучахъ на темную воду пали желтыя пятна лунныхъ лучей и, посверкавъ съ минуту, исчезли, стертыя сырой тьмой.

Плоты плыли дальше посреди тьмы и молчанія.

II.

У одного изъ переднихъ веселъ стоялъ Силанъ Петровъ, въ широкой красной рубахѣ съ разстегнутымъ воротомъ, обнажавшимъ его могучую шею и волосатую, прочную, какъ наковальня, грудь. Шапка сивыхъ волосъ нависла ему на лобъ, и изъ-подъ нея усмѣхались большіе, горячіе, каріе глаза. По локотъ засученные рукавы рубахи обнажали жилистыя руки, крѣпко державшія весло, и, немного подавшись корпусомъ впередъ, Силанъ что-то зорко высматривалъ въ густой тьмѣ дали.

Марька стояла въ трехъ шагахъ отъ него, къ теченію бокомъ, и съ улыбкой поглядывала на широкогрудую фигуру милаго. Оба молчали, занятые наблюденіемъ: онъ—за далью, она—за игрой его живого бородатаго лица.

— Костеръ рыбацкій, должно—поворотился онъ къ ней лицомъ. — Ничего. Держимъ прямо!—выдохнулъ онъ изъ себя цѣлый столбъ горячаго воздуха, ровно ударивъ весломъ влѣво и мощно проводя имъ по водѣ,.

— Не натужься больно-то, Машурка!—замѣтилъ онъ, видя, что и она дѣлаетъ тоже ловкое движеніе своимъ весломъ.

Кругленькая, полная, съ черными, бойкими глазами и румянцемъ во всю щеку, босая, въ одномъ мокромъ сарафанѣ, приставшемъ къ ея тѣлу,—она повернулась къ Силану лицомъ и, ласкаво улыбаясь, сказала:

— Ужъ больно ты бережешь меня. Чай, я слава-те Господи!

— Цѣлую—не берегу!—передернулъ плечами Силанъ.

— И не слѣдъ!—вызывающе прошептала она.

Они замолчали, оглядывая другъ друга жадными взглядами.

Подъ плотами задумчиво журчала вода. Справа, далеко гдѣ-то, запѣли пѣтухи.

Чуть замѣтно колыхаясь подъ ногами, плоты плыли впередъ, туда, гдѣ тьма уже рѣдѣла и таяла, а облака принимали болѣе рѣзкія очертанія и свѣтлые оттѣнки.

— Силанъ Петровичъ! Знаешь, чего опи тамъ визжали? Я знаю, право-слово, знаю! Это Митрій жалился на насъ Сережкѣ, да и проскулилъ такъ-то жалобно съ тоски, а Сережка-то и ругнулъ насъ.

Марья пытливо уставилась въ лицо Силана, теперь, послѣ ея словъ—суровое и холодно-упрямое.

— Ну, такъ-что—коротко спросилъ онъ.

— Такъ, молъ. Ничего.

— А коли ничего, такъ и говорить было ничего.

— Да ты не серчай!

— На тебя-то? И радъ бы иной разъ, да не въ силу.

— Любишь Машку?—шаловливо прошептала она, наклонясь къ нему.

— Э-эхъ!—выразительно крякнулъ Силанъ и, протянувъ къ ней свои сильныя руки, сквозь зубы сказалъ:

— Иди что ли.... Не задорь....

Она изогнулась, какъ кошка, и мятко прильнула къ нему.

— Опять собьемъ плоты-то!—шепталъ онъ, цѣлуя ея лицо, горѣвшее подъ его губами.

— Будетъ ужъ! Свѣтаетъ... Видно насъ съ того конца.

И кивнувъ головой на задъ плотовъ, она попыталась оттолкнуть отъ него, но онъ еще крѣпче прижалъ ее одной рукой, а другой взялъ за руль.

— Видно? Пускай видятъ! Пускай всѣ видятъ! Плюю на всѣхъ. Грѣхъ дѣлаю, точно. Знаю. Ну-ка что жъ? Подержу отвѣтъ Господу. А все жъ таки женой ты его не была. Свободная, стало быть, ты сама своя.... Тяжко ему? Знаю. А мнѣ? Али снoха-

чомъ быть лестно? Хоть оно, положимъ, ты не жена ему.... А все жъ! Съ моимъ-то почетомъ—каково мнѣ теперь? А передъ Богомъ не грѣхъ? Грѣхъ! Все знаю! И все преступилъ. Потому—стоитъ! Одинъ разъ на свѣтѣ-то живутъ, и кажинный день умереть можно. Эхъ, Марья! Мѣсяцъ бы мнѣ одинъ погодить Митьку-то женить! Ничего бы этого не было. Сейчасъ бы послѣ смерти Анѳисы сватовъ я къ тебѣ засламъ—и шабасъ! Въ законѣ. Безъ грѣха, безъ стыда. Ошибка моя была. Сгрызетъ она мнѣ лѣтъ пятокъ—десятокъ, ошибка эта. Умрешь отъ нея раньше смерти..... .

— Ну, ладно, брось, не тревожъ себя. Было говорено про это неразъ ужъ,—прошептала Марья и, тихонько освободившись тъ его объятій, подошла къ своему веслу. Онъ сталъ работать порывисто и сильно, какъ бы желая дать исходъ той тяжести, что легла ему на грудь и омрачила его красивое лицо.

Свѣтало.

И тучи, рѣдѣя, лѣниво расползались по небу, какъ бы не желая дать мѣста всходившему солнцу. Вода рѣки стала свѣтлой и пріобрѣла холодный блеск матовой стали.

— Опять онъ, намедни, толковалъ. Батюшка, говоритъ, али это не стыдъ-позоръ тебѣ и мнѣ? Брось ты ее, тебя-то то-есть,—усмѣхнулся Силанъ Петровъ,—брось, говоритъ, войди въ мѣру. Сынъ, молъ, мой милый, отойди прочь, коли живъ былъ хорошъ! Разорву въ куски какъ тряпину гнилую. Ничего отъ твоей добродѣтели не останется. На муку, молъ, себѣ родилъ я тебя, выродка. Дрожитъ. Батюшка! али, говоритъ, я виноватъ? Виноватъ, молъ, комаръ писклывый,—потому камень ты на моей дорогѣ. Виноватъ, молъ, потому постоять за себя не умѣешь. Мертвеччина, молъ, ты, стерва тухлая. Кабы, молъ ты здоровъ былъ,—хоть бы убить тебя можно было, а то и этого нѣтъ. Жалко тебя, кикимору несчастную. Воетъ!—Эхъ, Марья! Плохи люди стали! Другой бы

—э-эхма! Выбился бы изъ петли-то скоро. А мы — въ ней! Да, можетъ, такъ и затянемъ другъ друга.

— Это ты о чемъ?—робко спросила Марья, съ испугомъ глядя на него, суроваго, мощнаго и холоднаго.

— Такъ.... Умеръ бы онъ.... Вотъ что. Кабы умеръ.... ловко бы! Все бы въ колею вскочило. Отдалъ бы твоимъ землю, замазалъ бы имъ глотки-то, а съ тобой—въ Сибирь... али на Кубань! Кто такая? Жена моя! Поняла? Документъ бы такой достали... бумагу. Лавку бы открылъ въ деревнѣ гдѣ. И жили бы. И грѣхъ нашъ передъ Господомъ замолили бы. Много ли намъ надо? Помогли бы людямъ жить, а они бы помогли намъ совѣсть успокоить.... Хорошо? а? Маша!?...

— Да-а!—вздохнула она и крѣпко, зажмуривъ глаза задумалась о чемъ-то.

Они помолчали..... Журчала вода.....

— Чахлый онъ.... Можетъ, скоро умретъ, — глухо сказалъ Силанъ Петровичъ.

— Дай-ка Ты, Господи, поскорѣе бы!—молитвенно произнесла Марья и перекрестилась.

. . . .

Брызнули лучи весенняго солнца и заиграли на водѣ золотомъ и радугой. Дунулъ вѣтеръ, все дрогнуло, ожило и засмѣялось. Голубое небо между тучь тоже улыбалось раскрашенной солнцемъ водѣ. А тучи остались уже сзади плотовъ.

Тамъ, собравшись въ тяжелую темную массу, онѣ раздумчиво и неподвижно стояли надъ широкой рѣкой, точно выбирая путь, которымъ скорѣе уйдешь отъ живого солнца весны, богатаго блескомъ и радостью, и врага имъ, матерьямъ зимныхъ вьюгъ, запоздавшимъ отступить предъ весной.

Впереди плотовъ сіяло чистое, ясное небо, и солнце, еще холодное по-утреннему, но нестерпимо

яркое по-весеннему, важно и красиво всходило все выше въ голубую пустыню неба изъ пурпурно-золотыхъ волнъ рѣки.

Справа отъ плотовъ былъ виденъ коричневый горный берегъ въ зеленой бахромѣ лѣса, слѣва— блѣдно-изумрудный коверъ луговъ блестѣлъ брильянтами росы.

Въ воздухѣ поплылъ сочный запахъ земли, только что рожденной травы и смолистый ароматъ хвои.

Силанъ Петровъ посмотрѣлъ на заднія весла.

Сергѣй и Митрій точно приросли къ нимъ. Но еще трудно было, за далью, видѣть выраженіе ихъ лицъ.

Онъ перевелъ глаза на Марью.

Ей было холодно. Стоя у весла, она сжалась въ комокъ и стала совсѣмъ круглой. Вся облитая солнцемъ, она смотрѣла впередъ задумчивыми глазами, и на ея губахъ играла та загадочная и чарующая улыбка, которая и некрасивую женщину дѣлаетъ обаятельной и желательной.

— Поглядывая въ оба, ребятышки-и! О-о!...— во всю мочь громыхнулъ Силанъ Петровъ, чувствуя мощный приливъ бодрости въ своей широкой груди.

И отъ его крика все кругомъ какъ бы колыхнулось. Долго по горному берегу звучало эхо.

Конецъ.

РАННЯЯ ОБѢДНЯ.

Темно. Зимняя ночь заворожила городъ безтрепетнымъ молчаніемъ. Нигдѣ ни огонька, ни звука шаговъ, ни скрипа санныхъ полозьевъ по снѣгу.

Ночные караульщики спять на лавкахъ у воротъ, закутанные въ свои огромные тулуны. Только на темномъ небѣ трепещутъ синеватыя звѣзды и холодно смотрятъ на спящій міръ, окутанный безпросвѣтною, молчаливою мглой.

За ночь тротуары замело снѣгомъ, и на этомъ снѣгѣ еще-нѣтъ нигдѣ слѣда человѣческаго. Тихо. Городъ словно вымеръ. Отовсюду чутко смотрятъ тьма и молчаніе.

И вдругъ воздухъ дрогнулъ отъ густого мѣднаго звука. Это былъ грустный, надрывающій сердце ударъ. Медленно колыхаясь, упалъ онъ въ мертвую тишину, и тишина поглотила его, и уныло растаялъ въ ней этотъ глубокій и печальный вздохъ соборнаго колокола.

И опять стало тихо. И чутко дышетъ молчаніе ночи, и тревожно смотритъ отовсюду тьма. Казалось, что внезапный зовъ колокола безслѣдно пропалъ въ пустынѣ молчанія, что онъ не разбудилъ сонной тьмы.

Но когда замеръ его одинокій голосъ, откуда-то изъ-далека доплылъ отвѣтъ другого колокола. И, перепутываясь вдалеки, стали рождаться разноголосые мѣдные крики. Они говорили о чемъ-то другъ другу и, печально вздыхая, падали въ бездну тишины и тишина поглощала ихъ.

Въ старинномъ соборѣ чуть-чуть свѣтился огонекъ. Черные, низкіе своды таинственно терялись въ темнотѣ. Огромныя тѣни, колыхаясь, блуждали по собору.

Свѣчи и лампады, какъ звѣздочки, теплились въ правомъ низкомъ придѣлѣ; въ лѣвомъ и переднемъ алтарѣ, подъ куполомъ, было совсѣмъ темно.

Позвякивая большими ключами, прошелъ церковный сторожъ, сѣдой, какъ лунь, съ окладистой бородой и кудрявыми волосами въ кружало. Его шаркающіе шаги и металлическое звяканье ключей отчетливо повторяются эхомъ въ темныхъ алтаряхъ, и кажется, что тамъ кто-то ходитъ другой, огром-

ный, мягкій и кроткій. Гугантская тѣнь старика ложится черезъ весь соборъ, перегибается на ступеняхъ амвона, пользетъ по бѣлымъ косякамъ узкихъ оконъ съ озорчатыми желѣзными рѣшетками.

Гулко хлопнула тяжелая дверь, и вмѣстѣ съ бѣлыми клубами холоднаго воздуха въ церковь вошелъ высокій дьяконъ въ енотовой шубѣ съ огромнымъ поднятымъ воротникомъ. Онъ отогнулъ воротникъ, разгладилъ окладистую бороду, тряхнулъ длинными волосами, уцѣлѣвшими только на затылкѣ, и осторожно крякнулъ, прочищая горло.

Звукъ его густого баса встревожилъ всю тишину собора, и она безпокойно всхолыхнулась, подхватила металлическій голосъ дьякона и долго играла имъ подъ темными сводами.

Дьяконъ тяжелыми шагами прошелъ черезъ всю церковь и алтарь. Его картинная фигура съ длинной бородой, ниспадавшей на грудь, и кудрями на затылкѣ вырѣзалась на свѣтломъ фонѣ золотыхъ иконъ рѣзкоочерченынмъ силуэтомъ. За нимъ по каменнымъ плытамъ двигалась огромная, неопредѣленная тѣнь.

Тяжелая дверь опять отворилась, родила

гулкіе звуки, опять кто-то вошелъ и кашлянулъ. Силуэты людей все чаще и чаще обрисовывались въ полутьмѣ, и отъ каждаго человѣка падала длинная тѣнь. Шумно пробѣжали мальчуганы—пѣвчіе съ красными отъ мороза щеками, послышались теноровыя и басовыя покашливанія взрослыхъ пѣвчихъ.

Стали входить фигуры въ дубленыхъ полушубкахъ, въ промерзлыхъ лаптяхъ.

Всюду кроткими звѣздами вспыхивали огни свѣчъ. Наконецъ, изъ алтаря задребезжалъ старческій голосъ священника, и дячекъ громко сталъ читать часы горловымъ козлинымъ голосомъ.

Это былъ мастеръ быстраго чтенія. Слова у него сыпались такъ стремительно, что въ нихъ нельзя было уловить никакого смысла. Громко барабаня языкомъ, онъ сладостно замиралъ, переводя дыханіе, и, быть можетъ находилъ своеобразное удовольствіе въ своемъ искусствѣ.

.....«На рукахъ возьмутъ тя, да не когда преткнеши..... на аспида и василиска..... и поперши льва и змія.... Живый въ помощи Вышняго, въ кровѣ Бога небеснаго».....

Отдѣльныя фразы мелькали и тонули въ быстромъ потокѣ его чтенія; «Господи, поми-

луй» сыпалось частою дробью и сливалось въ какое-то безмысленное «помилосъ».

А сквозь шумъ его чтенія, хлопанье двери и шаги входящихъ въ храмъ изъ алтаря струилось низкое рокотаніе густаго дьяконова баса.

Изъ темноты лѣваго придѣла выходили пѣвчіе: они давно уже дремали во мглѣ клироса въ ожиданіи начала обѣдни. Хоръ становился не на клиросѣ освѣщеннаго придѣла, гдѣ было тѣсно, низко и глухо, а подъ самой аркой. Высокіе силуэты басовъ загородили ее полукругомъ, а мальчики стояли посреди церкви подъ паникадиломъ высокаго купола, двумя кучками, одна противъ другой. Въ центрѣ хора виднѣлся не опредѣленный силуэтъ регента.

Изъ придѣла крякнулъ дьяконъ и возгласилъ густымъ речитативомъ:

— Бла-гос-ло-ви, вла-ды-ко-о-о!

Старческій голосъ священника чуть слышно доносился изъ алтаря, и регентъ скорѣе чутьемъ, чѣмъ ухомъ, угадалъ окончаніе возгласа. Онъ взмахнулъ руками и хоръ густымъ аккордомъ загудѣлъ обычное «аминь»

Пѣли довольно лѣниво. Нераспѣтые, отяжелѣвшіе отъ сна голоса немного понижали

тонъ, у теноровъ иногда выскакивали «галушки», басамъ трудно было схватить. Только октавѣ было хорошо: послѣ сна или, можетъ быть, перепоя она свободно пускала самые низкіе звуки, и они густой волной расстилались по каменному полу.

«Октава» исходила изъ огромнаго силуэта старика въ плохомъ сюртукѣ, съ длинными сѣдыми волосами и благообразной бородой.

Вскорѣ этотъ силуэтъ, длинный и наклоненный впередъ, огромными шагами передвинулся въ придѣлъ съ большой книгой въ рукахъ.

Хору не видно было богослуженія въ придѣлѣ, и регентъ, прислушиваясь, руководился только звуками.

А позади хора уже стояла темная толпа народа. Это были все овчинные тулупы, полушубки, поддевки, мужицкія бородатыя лица. Къ этой ранней службѣ ходитъ только молчаливый и бѣдный людъ со своей крѣпкой вѣрой въ Бога, съ темными зачатками мыслей, задолго до разсвѣта приходящій сюда получить свое образованное душевное удовлетвореніе.

— Бр-ра-тіе!.. — доносился изъ придѣ-

ла тяжелый басъ огромнаго силуэта. Видно было, какъ высокій старичище стоялъ въ толпѣ, выше ея на голову, и ревѣлъ, растопыривъ передъ собой тяжелую книгу.

«Не прїоб-щай-теся къ дѣламъ неплоднымъ тьмы-ы».... Чтеніе апостола даетъ пѣвчимъ время для отдыха, выхода изъ церкви, чтобы покурить, и для разговоровъ. Они сгруппировались и, пользуясь ревомъ чтеца, свободно разговариваютъ.

Подошелъ къ нимъ и регентъ—плотная фигура съ брюшкомъ.

— «Воз-ста-ни, спяй, и воскрес-ни отъ ме-е-рт-выхъ!».....—грохоталъ здоровенный басище.

— Куда бы мнѣ спровадить эту окаянную силу? — кивнулъ регентъ въ сторону оглушительнаго рева.

— А что, надоѣлъ?—прогудѣлъ кто-то басомъ.

— Мочи моей нѣтъ! Только портитъ. Помните, въ прошлый разъ второпяхъ схватилъ ноты вверхъ ногами и зазѣвалъ одинъ верхнее «ре», а написано-то, конечно, нижнее, піяниссимо... .

— Куда его дѣнешь? — безнадежно сказалъ кто-то:—дѣваться ему никуда! Въ уни-

женіи человѣкъ, ну и ослабъ!.. .. .

— А кто виноватъ? Не пьянствуй.

«Сего ра-ди не бывайте нес-мы-слен-ни!» —сурово гремѣлъ надъ толпой старичище! —«Но разумѣвающе, что есть воля Бо-о-жія!»..

— Вѣдь онъ до чего доходилъ? Въ рясѣ, днемъ, фонарные столбы выворачивалъ при всемъ народѣ! «Не я», говоритъ, «Христа забылъ, а Христосъ меня»!...

— Да оно, духовенство-то, всегда много пьетъ, особливо дьякона. Рѣдкій не сопьется и въ концѣ-концовъ въ пѣвчіе не попадетъ, потому что жизнь такая: обѣды, крестины, молебны! Какъ тутъ не погибнуть слабодушному человѣку? А купечество? И опять же — скука!

— Отъ пьянства всѣ гибнутъ!—солидно сказалъ регентъ:—вотъ Урбановъ тоже! Двѣ недѣли глазъ не кажетъ, пьяная морда! Ну, не подлецъ-ли? Въ ногахъ валялся, клялся, что не будетъ пить; одѣли его купцы, а онъ опять!.....

Регентъ съ грустью и злобой покачалъ головой и сказалъ съ неожиданной рѣшимостью:

— Въ шею!... .

— Жалко! — возразили ему:—хорошій солисть!

— Еще бы! — согласился регентъ: —талантъ, чудный теноръ, сколько души, сколько вкуса, чувства, н-но—пьяница! Ничего не подѣлаешь! Придется разстаться. Вѣдь другой бы съ его голосомъ и способностями карьеру себѣ сдѣлалъ, а этотъ лѣнтяй въ пьянствѣ изжилъ всю свою жизнь! Я ему, подлецу, и дверей теперь не открою, коли опять придетъ каяться! Усталъ я отъ этой канители! И что же за удивительная вещь? Какъ хорошій пѣвчій, такъ изъ рукъ вонъ пьяница!

— Да онъ, пожалуй, какъ бы сейчасъ къ ранней не пришелъ? Вытрезвляется, говорятъ.

— Ну, если придетъ, споемъ «Покаяніе»: я его пр-ро-ма-нежу!

— Сорвется, пожалуй, онъ тамъ съ верхняго-то «ля»? Вѣдь послѣ запоя!...

— А мнѣ какое дѣло? Умѣешь пить, такъ умѣй и пѣть! А не то—съ Богомъ, въ босяки!

— Пропоетъ!—возразилъ кто-то:—послѣ запоя онъ удивительно хорошо поетъ! Я помню, онъ какъ-то разъ «Яко согрѣши-

хомъ» спѣлъ: диву всѣ дались! Поетъ, а у самого слезы по мордѣ такъ и теку-утъ!...

Бывшій дьяконъ добрался до самыхъ верхнихъ нотъ и неистово оралъ, выходя изъ себя:

«Не упива-айте-ся вино-омъ!
Въ немъ-же есть блу-у-удъ»!

Ему трудно было остановить массу своего голоса на неудобномъ звукѣ «д», и его басъ, упираясь въ низкіе своды, неуклюже рухнулъ, какъ глыба.

— Миръ ти!—укоризненно сказалъ ему священникъ. Старичище что-то недовольно проворчалъ ему въ отвѣтъ актавой и возвратился въ хоръ. Хоръ запѣлъ....

Для «Херувимскоѣ» одинъ изъ мальчиковъ роздалъ всѣмъ партіямъ ноты. Подъ темной аркой пѣвчіе зажгли свѣчи, чтобы свѣтить на бумагу. Нотные листки освѣщались трепетнымъ мерцаніемъ восковыхъ свѣчекъ. Блѣдный свѣтъ случайно попадалъ на сдвинутыя плечи, лица, бороды пѣвчихъ. За предѣлами этого славаго свѣта все тонуло во мракѣ.

А тамъ, во мракѣ, шевелилась и вздыхала таинственная толпа въ полушубкахъ, лаптяхъ и валеныхъ сапогахъ. Неясная и не-

определенная отъ темноты, она казалась громадной и стихiйной, и загадочной со своею глубокою и темною жизнью духа, полною нетронутой вѣры.

Волнами, тихо, широко и стройно разливалась херувимская пѣснь.

Хора почти не видно было въ темнотѣ, и казалось, что благоговѣйно-тихое пѣнiе доносится изъ купола, откуда спускается къ людямъ рой свѣтлыхъ ангеловъ. Они вѣютъ своими серебрянными крыльями и несутъ въ этотъ бѣдный мiръ, молящiйся во мракѣ, что-то прекрасное, чистое и свѣтлое....

Грубо звучитъ металлическiй голосъ дьякона. Грустно дребезжитъ старческiй голосъ священника. И вдругъ неожиданно и мощно грянули басы:

«Я-ко да ца-ря!....»

И вслѣдъ за ними, порхая и крахтясь, понеслись дѣтскiе и теноровые голоса. Они радостно мчались въ куполъ, перепутываясь и догоняя другъ друга, какъ въ майскiй день золотые мотыльки на полѣ.

А басы порывисто и быстро, все выше и выше, все мощнѣе и грознѣе повторяли:

«Подымемъ! Подымемъ! Подымемъ!»

Мракъ становился блѣднѣе. Въ узкiя окна

купола пробивался разсвѣтъ; и яснѣе можно было различать внутренность храма, толпу народа и фигуры пѣвчихъ. И по мѣрѣ того, какъ становилось свѣтлѣе, — все кругомъ утрачивало свой мрачный и таинственный колоритъ.

Обѣдня близилась къ концу. Хоръ тихо и молитвенно пѣлъ «Отче нашъ». Въ черной толпѣ мелкали бѣлыя руки: всѣ осѣняли себя крестнымъ знаменемъ.

Въ это время въ полукругѣ хора появилась робкая фигура человѣка, одѣтаго очень плохо, это былъ тщедушный, до времени изжитой человѣкъ, съ козлиной бороденькой и рѣдкими, спутанными кудрями до плечь... Видно было, что лицо его было когда то красивымъ, и кудри — густыми и холеными. На немъ была изодранная кацавейка, подпоясанная краснымъ платкомъ, заплатанныя брюкъ и промерзлые ботинки безъ галошъ Онъ встыдливо и застѣнчиво горбился и пряталъ въ рукава красныя отъ холода руки.

Въ хорѣ произошло движеніе, и пронесся шопотъ: «Урбановъ»...

Изъ хора выступили въ полукругъ солисты: высокій басъ съ бѣлокурой бородой и низенькій хохлатый теноръ съ рябымъ ли-

цомъ.

Регентъ сдѣлалъ едва замѣтное движеніе рукой: Урбановъ подвинулся впередъ. И они всѣ трое стояли въ полукругѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ другъ отъ друга: Урбановъ въ серединѣ, подъ аркой, лицомъ къ алтарю и регенту, который стоялъ передъ нимъ съ поднятой рукой.

— Покаяніе!—чуть слышно сказалъ онъ и задалъ тонъ.

Пѣвцы замерли на своихъ мѣстахъ. Регентъ плавно шевельнулъ рукой, и они запѣли.

Басъ гудѣлъ стройно, какъ органъ, рябой вторилъ теноромъ, а высокимъ «первымъ» теноромъ запѣлъ оборванецъ.

У него былъ нѣжный и мягкій, свободный голосъ. Странно было слышать благородные и трогательные звуки изъ впалой груди измытареннаго пропойцы. Эти грудные звуки струились свѣтлымъ и чистымъ потокомъ, и незамѣтно переходили въ нѣжную фистулу, тихо-тихо замирали, и когда казалось, что они уже замерли, они начинали опять расти, расширяться, опять обращались въ грудные цѣльные и полные звуки и опять замирали. Незамѣтно было, когда онъ переводитъ ды-

ханіе, и голосъ его казался безконечнымъ и безграничнымъ, какимъ-то моремъ звуковъ.

Они пѣли тріо «Покаянія отверзи ми двери». Урбановъ, жалкій, всклокоченный, съ умоляющимъ видомъ стоялъ передъ суровым регентомъ и пѣлъ о «покаяніи». А регентъ пронизывалъ его испытующимъ окомъ и неумолимо помахивалъ рукой. Въ хорѣ промелькнули улыбки.

«От-ве-е-рзи!....»

Повторилъ опять Урбановъ, уже съ большей страстностью, въ очень высокую, звонкую ноту, подъ густой аккомпаниментъ баса и рябого тенора, и уже испыхнуло въ этомъ звукѣ что-то проникновенное, что сразу передалось всѣмъ и прекратило улыбки.

А молчаливая толпа народа какъ бы замерла, перестала шевелиться, кашлять и вздыхать, и неизвѣстно было, слушаетъ ли она пѣвцовъ, или совсѣмъ не замѣчаетъ ихъ.

Урбановъ пѣлъ и медленно выпрямлялся, устремивъ глаза свои въ куполъ. Онъ сразу какъ бы отодвинулъ на второй планъ остальныхъ пѣвцовъ и къ одному себѣ привлекъ всеобщее вниманіе.

«Храмъ носяй тѣ-лес-ный!».

Нѣжно трепеталъ его голосъ.

«Храмъ»! струннымъ аккордомъ торжественно гудѣлъ басъ.

«Весь.... весь... весь.... оскверненъ!»

Рыдалъ голосъ Урбанова, а самъ онъ все крѣпче прижималъ къ своей впалой груди красныя, иззябшія руки.

«Оскверненъ!»

Глубоко и печально вздыхалъ басъ. И въ толпѣ народа также послышались вздохи. Ихъ такъ было много, что они сливались въ какой-то невнятный шелестъ или дальній шумъ рѣки... Казалось, что вѣтеръ пробѣгалъ по вершинамъ темнаго лѣса, а лѣсъ невнятно шумѣлъ, или гдѣ-то далеко волна тихо приходила къ берегу и умирала на немъ.

«И въ лѣности.... и въ лѣности....»

Словно огненнымъ бичемъ ядарилъ Урбановъ и вдругъ высоко зазвенѣлъ съ такой илъ дыханіе и слушалъ, и строгіе лики святыхъ посмотрѣли на пѣвца менѣе строго:

«Все житіе мо-е.... изжихъ...»

Это был ужас горькаго сознанія, что жизнь изжита безвозвратно и непоправимо, что талантъ погубленъ во тьмѣ и грязи, и что уже не подняться ему оттуда.....

И вдругъ басъ неожиданно грянулъ, какъ громъ:

«О-ка-я-нный!»

Въ толпѣ прошла волна вздоховъ.

«Тр-ре-пе-щу!...»

Могучимъ ударомъ разразился полный и свѣтлый голосъ, словно это было проклятіе неба.....

И тогда весь хоръ, какъ бы придавленный этимъ ударомъ, прошепталъ тихо и страшно, словно низвергнутый въ преисподнюю, съ актавой, едва доходящей изъ бездны, и казалось, что сюда уже доносятся чуть слышные голоса ада:

«Страшнаго... суднаго... дне...»

Въ этотъ моментъ передняя половина толпы, какъ одинъ человѣкъ, опустилась на колѣни, сама не замѣчая этого, и въ шелестѣ вздоховъ тонкими струйками мелькали всхлипыванія.

А Урбановъ, преобразившійся, съ глазами, устремленными въ самый верхъ купола, все еще стоялъ съ прижатыми къ груди руками, и голосъ его все еще замиралъ нѣжнымъ плачущимъ звукомъ.

Конецъ.

КРЕСТИНЫ
ПРОПОВѢДЬ

КРЕСТИНЫ.

Ребенокъ родился очень слабымъ, и мать захотѣла окрестить его раньше, чѣмъ сама получить отъ священника очистительную послѣродовую молитву. А, между тѣмъ, она такъ надѣялась, что сама будетъ присутствовать при крещеніи, сама проводитъ въ церковь свою разряженную въ бѣлыя ленты дочь! Но маленькое, слабенькое существо чуть дышало, и неизвѣстно, что могло приключиться съ нимъ кождую минуту. Если же умираютъ такія малютки, то надо, чтобы душа ихъ пошла прямо въ рай, къ ангеламъ. Ея дочь тоже могла внезапно умереть. Она и родилась съ сморщенной кожей, какъ у старыхъ людей, и синеватымъ цвѣтомъ лица. Она не хотѣла брать груди, а все морщилась и кричала.

Надо правду сказать: бѣдныя крестины сосѣдству нашли крестнаго отца и крестную мать. Послѣ полудня отправились въ приходскую церковь святой Анны Орейской. Одинъ изъ священниковъ этой церкви еще утромъ былъ извѣщенъ, что предстоятъ крестины.

Надо провду сказать: бѣдныя крестины бываютъ такъ же мрачны, какъ похороны какого-нибудь бродяги. Услужливая сосѣдка старушка несла ребенка, завернутаго въ пеленки. Онъ всю дорогу кричалъ подъ своей кисей, надѣтой ради такого торжества.

Крестный отецъ въ синей курткѣ, обшитой бархатомъ, и крестная мать въ нарядномъ чепчикѣ шли позади старушки, слѣдомъ за ними шелъ отецъ, облеченный въ старомодный узкій и заслонившійся сюртукъ. Кромѣ этихъ четырехъ человѣкъ, не было ни родственниковъ, ни друзей, ни яркихъ лентъ, ни музыки, ни веселой процессіи. Погода была пасмурная. Отпечатокъ какой то невыразимой тоски лежалъ но красноватыхъ маленькихъ кустарникахъ.

Когда они пришли въ церковь, священ-

ника еще не было тамъ. Надо было дожидаться.

Крестный отецъ и крестная мать опустились на колѣни передъ изображеніемъ святой Анны и забормотали молитвы; старушка укачивала тоскливо стонавшаго ребенка, перемѣшивая свои молитвы колыбельными припѣвами, отецъ разглядывалъ колонны, своды, весь этотъ мраморъ, все это золото, которое, какъ бы по мановенію волшебницы, поднималось здѣсь надъ непроходимой нищетой обездоленной страны. Женщины, простершись передъ свѣчами и почти прильнувъ лицомъ къ разноцвѣтнымъ плитамъ молились. Ихъ бормотаніе, похожее на перепеливые звуки на лугу по вечерамъ, и щелканье перебираемыхъ четокъ разносились точно пересыпаемое зерно, среди молчанія мрачной и пышной базилики.

Наконецъ, запоздавъ на цѣлый часъ,

пришелъ священникъ,—весь красный, нетерпѣливо завязывая шнурки своего стихаря... Онъ былъ въ дурномъ расположеніи духа, какъ человѣкъ внезапно оторванный отъ обѣда . Бросивъ презрительный взглядъ на

скромную пару, которая не обѣщала богатаго дохода, священникъ рѣзко обратился къ отцу:

— Какъ тебя зовутъ?

— Луи Моренъ.

— Луи Моренъ?.. Моренъ... здѣсь нѣтъ такой фамиліи... Луи Моренъ!.. Ты не здѣшній?

— Нѣтъ, батюшка.

— Что ты—христіанинъ?

— Да, батюшка.

— Христіанинъ... христіанинъ.. и твоя фамилія Моренъ?.. И ты не здѣшній!.. Гм, гм!.. Ничего не значитъ... Откуда ты?

— Я изъ Анжу...

— Впрочемъ, это твое дѣло... Что ты здѣсь дѣлаешь?

— Я состою сторожемъ въ имѣніи господина Дюбекъ, вотъ уже два мѣсяца.

Священникъ пожалъ плечами—и проворчалъ:

— Господинъ Любекъ лучше бы сдѣлалъ, если бы нанималъ сторожей для имѣнія изъ своихъ людей... а не развращалъ

мѣстность прошлыми... людьми, о которыхъ не знаютъ, откуда они явились... вотъ, напримѣръ, я не знаю тебя!.. А также и твою жену... Что ты женатъ?

— Конечно, женатъ, батюшка. Я вамъ уже передалъ свои бумаги для совершенія крещенія.

— Женатъ... женатъ... легко сказать.. Твои бумаги? это легко сдѣлать. Словомъ, посмотримъ... Почему тебя никогда не бываетъ видно въ церкви? Ты никогда не приходишь въ церковь, а также и твоя жена и никто изъ твоихъ домашнихъ?..

— Съ тѣхъ поръ, какъ мы здѣсь, моя жена все больна; она не вставала съ постели, батюшка... Да, кромѣ того, много работы въ домѣ...

— Ты нечестивецъ, вотъ и все... безбожникъ,—разбойникъ... И жена твоя—то же самое. Если бы ты поставилъ нашей защитницѣ, святой Аннѣ, дюжину свѣчей, то твоя жена не болѣла бы... Это ты ходишь за коровами у Любека?

— Да, батюшка.

— И за садомъ тоже?

— Да, батюшка.

— Хорошо. Тебя зовутъ Моренъ. Словомъ, твое дѣло.

Затѣмъ, внезапно обратившись къ старушкѣ, онъ велѣлъ ей снять съ ребенка чепчикъ и нагрудникъ.

— Мальчикъ или дѣвочка? Какого пола ребенокъ?

— Дѣвочка, дорогая крошка,—скрипуче прошмакала старуха,—милое божье дитя.

Ея неискусные пальцы никакъ не могли развязать ленты у чепчика.

— Почему она такъ кричитъ?.. Она больна? Впрочемъ,—ея дѣло... Ну, поворачивайся...

Чепчикъ былъ, наконецъ, снятъ, показалась головка ребенка съ сморщеннымъ безволосымъ черепомъ. Съ обѣихъ сторонъ лба, около висковъ виднѣлись синеватыя пятна.

Священникъ, увидавъ эти два пятна, закричалъ:

— Но эта дѣвочка родилась на свѣтъ неестественнымъ образомъ?

Отецъ разсказалъ, какъ было.

— Нѣтъ, батюшка... Мать чуть бы не умерла. Ребенка вынули щипцами... Докторъ говорилъ, что придется вынимать ребенка по частям... Въ продолженіе двухъ дней мы очень безпокоились.

— Ну, по крайней мѣрѣ прочитали ли надъ ней, когда она родилась, крестильную молитву?

— Совершенно вѣрно, батюшка. Очень боялись, что она не выживетъ.

— А кто читалъ молитву! Акушерка?

— О, нѣтъ, батюшка... Докторъ Дюрандъ.

При этомъ имени попъ вспылилъ:

— Докторъ Дюрандъ? Да развѣ ты не знаешь, что докторъ Дюрандъ—безбожникъ, разбойникъ... что онъ пьянствуетъ и живетъ въ связи со своей служанкой... И ты воображаешь, что докторъ окрестилъ твою дочь?

Болванъ ты этакій! Знаешь ли ты, что сдѣлалъ онъ, этотъ разбойникъ, это чудовище съ твоей дочерью, знаешь ли ты!.. Онъ впустилъ бѣса въ твою дочь... Теперь въ твоей дочери сидитъ нечистый... Отъ этого она такъ и кричитъ. Я не хочу ее крестить.

Священникъ перекрестился, забормоталъ какія то латинскія слова такимъ гнѣвнымъ голосомъ, что слова эти походили скорѣе на брань, чѣмъ но молитву

Отецъ стоялъ молча, ошеломленный, съ широко открытымъ ртомъ.

— Ну, что ты смотришь на меня съ такимъ видомъ?..—ворчалъ священникъ. — Я тебѣ сказалъ, что я не могу окрестить твою дочь... Понялъ?.. Отнеси ее туда, откуда она пришла... Дѣвочка, въ которой живетъ нечистый... Это тебѣ наука, зови въ другой разъ доктора Моррека. Можешь итти къ своимъ коровамъ. Моренъ, Дюрандъ,—преисподняя и компанія.

Луи Моренъ сосредоточенно мялъ въ своихъ рукахъ шапку, смущенно повторяя:
— Это невозможно, невозможно. Что же

Священникъ подумалъ немного и затѣмъ болѣе спокойнымъ голосомъ сказалъ:

— Слушай-ка... средство, можетъ быть, есть... Я не могу окрестить твою дочь, пока въ ней будетъ пребывать нечистый... Но я могу, если ты хочешь, выгнать бѣса. Только это стоитъ 10 франковъ.

— Десять франковъ?..—воскликнулъ съ ужасомъ Луи Моренъ.—Десять франковъ? Это страшно дорого. страшно дорого.

— Ну, хорошо, скинемъ 5 франковъ на твою бѣдность... Сейчасъ ты мнѣ дашь 5 франковъ. Послѣ уборки принесешь мнѣ четвертикъ картофеля, а въ сентябрѣ 12 фунтовъ масла... Согласенъ на это?..

Моренъ въ продолженіе нѣсколько секундъ смущенно чесалъ голову, а затѣмъ сказалъ:

— И кромѣ того вы ее окрестите?

— И сверхъ того я не окрещу... Идетъ, что-ли?

— Много больно расходовъ... — бормоталъ Моренъ,—много расходовъ...

— Согласенъ-ли ты, наконецъ?

— Да... Только все-таки больно много расходовъ...

Тогда священникъ провелъ рукой по головѣ ребенка, похлопалъ его по животику, пробормоталъ какія то латинскія слова и продѣлалъ въ воздухѣ какіе то странные жесты.

— Хорошо, — сказалъ священникъ, — бѣсъ изгнанъ, теперь можно дѣвочку окрестить.

Затѣмъ, снова произнеся латинскія слова, онъ покропилъ водой ея лобъ, положилъ зернышко соли въ ротикъ, перекрестился и весело сказалъ:

— Ну, теперь она христіанка и можетъ умереть...

Объятые предчувствіемъ какихъ то нелѣпыхъ страховъ, они возвращались домой

молчаливые, съ низко опущенными головами.

Старушка шла впереди съ ребенкомъ, который все продолжалъ кричать; крестный отецъ и крестная мать шли позади нея. Отецъ плелся въ нѣкоторомъ разстояніи отъ нихъ.

Наступалъ туманный вечеръ, полный неясныхъ очертаній. Только съ высоты башни, словно призракъ, виднѣлась статуя св. Анны, покровительницы бретонцевъ, таинственно и какъ бы насмѣшливо выдѣляясь въ этомъ сумракѣ.

ПРОПОВѢДЬ.

На берегу Бретани, между Лоріеномъ и Конкарно, находится деревушка Кернакъ.

Сыпучія и ровныя дюны, съ тощими одуванчиками и растрепанныхъ макомъ, отдѣляютъ селеніе Кернакъ отъ моря.

Бухточка, хорошо защищенная отъ юго-восточныхъ вѣтровъ высокими стѣнами красноватыхъ скалъ, служитъ убѣжищемъ для рыбачьихъ лодокъ, спасающихся отъ плохой погоды.

Мѣстность позади деревни, оканчивающейся узкими и покатистыми улицами, представляетъ печальный видъ. Это болотистая, покрытая травой впадина, окруженная печальными холмами, гдѣ даже въ самое сухое лѣто застаивается маслянистая и черная во-

да. Съ этихъ мѣстъ поднимаются заразительныя испаренія. Населеніе, живущее въ отвратительныхъ лачугахъ, пропитанныхъ запахомъ разсола и полусгнившей рыбы,—болѣзненное и жалкое: мужчины—блѣдны, низкорослы, лица женщинъ худы и прозрачны, какъ воскъ. Здѣсь всѣ ходятъ съ согнутыми спинами, точно движущіеся трупы, и изъ-подъ женскихъ бѣлыхъ чепчиковъ на блѣдныхъ и сморщенныхъ лицахъ мрачно, лихорадочнымъ блескомъ сверкаютъ глаза. Пока мужъ на своей плохо-оснащенной лодкѣ рыскаетъ по морю за сомнительной сардинкой, жена воздѣлываетъ, какъ можетъ, болотистую землю. И вотъ, на высокихъ песчанныхъ холмахъ, тамъ и сямъ, между группами дикаго терна, появляются жалкія засѣянныя мѣста, словно лишайные наросты на черепѣ у стариковъ. Кажется, что какой то неумолимый рокъ тяготѣетъ надъ этимъ

ри. Онъ, считая себя пощаженнымъ грознымъ священникомъ, началъ втихомолку посмѣиваться въ свои густые сѣдые усы и длинную сѣдую бороду... Но смѣхъ не укрылся отъ взора попа. Вытянувъ руку, въ

которой хоругвь хлопала и трепалась, какъ парусъ во время бури, онъ указалъ ею на старика.

— Ты, борода...—вскричалъ попъ,—какое ты имѣешь право смѣяться!.. Какъ ты можешь, дерзкій глупецъ, смѣяться такимъ непристойнымъ образомъ въ домѣ милосердаго Бога... Ты дашь 20 франковъ.

И когда досмотрщикъ началъ протестовать, попъ повторилъ громко:

— Да, 20 франковъ, чертова борода!.. Обрати еще вниманіе на то, что я тебѣ скажу... Если ты не принесешь мнѣ эти 20 франковъ сегодня же послѣ вечерни... я знаю всѣ твои продѣлки... Я донесу на тебя прокурору республики... за воровство—нѣтъ еще недѣли, какъ вещи, найденныя въ морѣ... Ага, ты теперь не смѣешься, старая борода... Ты не ожидалъ этого, чертова борода!.. Во имя Отца и Сына и Святого Духа... Аминь!—заключилъ онъ и сошелъ съ каѳедры.

Идя въ алтарь, попъ размахивалъ хоругвью и хлопалъ ею по головамъ изумленныхъ прихожанъ.

О СМЕРТНОЙ КАЗНИ

О СМЕРТНОЙ КАЗНИ.

Глава изъ «Воскресеніе».

„...а говорилъ, что если-бы у него была другая жизнь, онъ ее употребилъ бы на то же самое,— на разрушеніе того порядка вещей, при которомъ возможно было то что, онъ видѣлъ.

Въ особенности полюбилъ Нехлюдовъ шедшаго съ той партіей, къ которой была присоединена Катюша, ссылаемаго въ каторгу чахоточнаго молодого человѣка Крыльцова. Нехлюдовъ познакомился съ нимъ еще въ Екатеринбургѣ и потомъ во время пути нѣсколько разъ видѣлся и бесѣдовалъ съ нимъ.

Одинъ разъ, лѣтомъ, на этапѣ во время дневки, Нехлюдовъ провелъ съ нимъ почти цѣлый день. И Крыльцовъ, разговорившись, разсказалъ ему свою исторію, и какъ онъ сталъ революціонеромъ. Исторія его до тюрьмы была очень короткая. Отецъ его богатый помѣщикъ южныхъ губерній, умеръ, когда онъ былъ еще ребенкомъ. Онъ былъ единственный сынъ и мать воспитала его. Учился онъ легко и въ гимназіи, и въ университетѣ и кончилъ курсъ первымъ кандидатомъ математическаго факультета. Ему предлагали остаться при университетѣ и ѣхать за-границу. Но онъ не медлилъ. Была дѣвушка, которую онъ любилъ, и онъ подумывалъ о женитьбѣ и земской дѣятельности. Всего хотѣлось и ни на что не рѣшался. Въ это время товарищи по университету попросили у него денегъ на общее дѣло. Онъ зналъ, что это общее дѣло было революціонное дѣло, которымъ онъ тогда совсѣмъ не интересовался, но изъ чувства товарищества и самолюбія, чтобы не подумали, что онъ боится, далъ деньги. Взявшіе деньги попались; была найдена записка, по которой узнали, что деньги даны Крыльцовымъ; его
интересовался, но изъ чувства товарищества

арестовали, посадили сначала въ часть, а потомъ въ тюрьму.

— Въ тюрьмѣ, куда меня посадили--разсказывалъ Крыльцовъ Нехлюдову (онъ сидѣлъ съ своей впалой грудью на высокихъ нарахъ, облокотившись на колѣни и только изрѣдка взглядывалъ блестящими, лихорадочными прекрасными глазами на Нехлюдова), въ тюрьмѣ этой не было особенной строгости; мы не только перестукивались, но и ходили по корридору, переговаривались, дѣлились провизіей, табакомъ и по вечерамъ даже пѣли хоромъ. У меня былъ голосъ хорошій. Да, если бы не мать,—она очень убивалась,—мнѣ бы хорошо было въ тюрьмѣ, даже пріятно и очень интересно. Здѣсь я познакохился, между прочимъ, съ знаменитымъ Петровымъ *) (онъ потомъ зарѣзался стекломъ въ крѣпости), и еще съ другими. Но и я не былъ революціонеромъ. Познакомился

*) 1880 Гольденбергъ повѣсился въ Петропавловской крѣпости.

я также съ двумя сосѣдями по камерѣ. Они попались въ одномъ и томъ же дѣлѣ съ польскими прокламаціями и судились за попытку освободиться отъ конвоя, когда ихъ вели на желѣзную дорогу. Одинъ былъ полякъ Лозинскій, другой—еврей, Розовскій—фамилія. Да. Розовскій этотъ былъ совсѣмъ мальчикъ. Онъ говорилъ что ему семнадцать, но на видъ ему было лѣтъ пятнадцать, худенькій, маленькій, съ блестящими черными глазами, живой и, какъ всѣ евреи, очень музыкаленъ. Голосъ у него еще ломался, но онъ прекрасно пѣлъ. Да. При мнѣ ихъ обоихъ водили на судъ. Утромъ отвели. Вечеромъ они вернулись и разсказали, что ихъ присудили къ смертной казни. Никто этого не ожидалъ. Такъ неважно было ихъ дѣло,—они только попытались отбиться отъ конвоя и никого не ранили даже. И потомъ, такъ неестественно, чтобы можно было такого ребенка, какъ Розовскій, казнить. И мы всѣ въ тюрьмѣ рѣшили, что это только чтобы напугать, и что приговоръ не будетъ конфирмованъ. Поволновались сначала, а потомъ успокоились, и жизнь пошла по старому. Да. Только разъ вечеромъ подходитъ къ моей двери сторожъ и таинственно сообща-

етъ, что пришли плотники, ставятъ висѣлицу; я сначала не понялъ,—что такое? какая висѣлица? Но сторожъ, старикъ былъ такъ взволнованъ, что взглянувъ на него, я понялъ, что это для нашихъ двухъ. Я хотѣлъ постучать, переговориться съ товарищами, но боялся , какъ бы тѣ не услышали. Товарищи тоже молчали. Очевидно всѣ знали.

Въ коррпдорѣ и камерахъ весь вечеръ была мертвая тишина. Мы не перестукивались и не пѣли. Часовъ въ десять опять подошелъ ко мнѣ сторожъ и объявилъ, что палача привезли изъ Москвы. Сказалъ и отошелъ. Я сталъ его звать, чтобы вернулся. Вдругъ слышу, Розовскій изъ своей камеры черезъ коридоръ кричитъ мнѣ: «Что вы? зачѣмъ вы его зовете?» Я сказалъ что-то, что онъ табакъ мнѣ приносилъ, но онъ точно догадывался и сталъ спрашивать меня: отчего мы не пѣли? отчего не перестукивались? Не помню, что я сказалъ ему, и поскорѣе отошелъ, чтобы не говорить съ нимъ. Да. Ужасная была ночь.

Всю ночь прислушивался ко всѣмъ звукамъ.

Вдругъ къ утру, слышу,—отворяютъ двери корридора и идутъ кто-то, много; я сталъ у окошечка. Въ корридорѣ горѣла лампа. Первый прошелъ смотритель. Толстый былъ, казалось, самоувѣренный, рѣшительный человѣкъ. На немъ лица не было: блѣдный, понурый, точно испуганный. За нимъ помощникъ—нахмуренный, съ рѣшительнымъ видомъ; сзади караулъ. Прошли мимо моей двери и остановились передъ камерой, рядомъ. И слышу—помощникъ какимъ-то страннымъ голосомъ кричитъ: «Лозинскій, вставайте, надѣвайте чистое бѣлье». Да. потомъ слышу, завизжала дверь, они прошли къ нему, потомъ слышу шаги Лозинскаго: онъ пошелъ въ противоположную сторону корридора. Мнѣ видно было только смотрителя. Стоитъ блѣдный и разстегиваетъ и застегиваетъ пуговицу и пожимаетъ плечами. Да. Вдругъ точно испугался чего,—посторонился. Это Лозинскій прошелъ мимо него и подошелъ къ моей двери. Красивый былъ

юноша; знаете такого хорошаго польскаго типа: широкій, прямой лобъ съ шапкой бѣлокурыхъ вьющихся, тонкихъ волосъ и прекрасные голубые глаза. Такой цвѣтущій, сочный, здоровый былъ юноша. Онъ остановился и передъ моимъ окошечкомъ, такъ что мнѣ видно было все его лицо.

Страшное, осунувшееся, сѣрое лицо.— «Крыльцовъ, папиросы есть?» Я хотѣлъ подать ему, но помощникъ, какъ будто боясь опоздать, выхватилъ свой портсигаръ и подалъ ему. Онъ взялъ одну папиросу, помощникъ зажегъ ему спичку. Онъ сталъ курить и какъ-будто задумался. Потомъ точно вспомнилъ что-то и началъ говорить:

«И жестоко и несправедливо. Я никакого преступленія не сдѣлалъ. Я...»—въ бѣлой молодой шеѣ его, отъ которой я не могъ оторвать глазъ, что-то задрожало, и онъ остановился. Да. Въ это время слышу, Розовскій изъ коррпдора кричитъ что-то своимъ тонкимъ еврейскимъ голосомъ. Лозинскій

бросилъ окурекъ и отошелъ отъ двери и въ окошечкѣ появился Розовскій. Дѣтское лицо его, съ влажными черными глазами было красно и потно. На немъ было тоже чистое бѣлье и штаны были слишкомъ широки и онъ все подтягивалъ ихъ обѣими руками и весь дрожалъ. Онъ приблизилъ свое жалкое лицо къ моему окошечку: «Анатолій Петровичъ, вѣдь правда, что докторъ прописалъ мнѣ грудной чай? я нездоровъ, я выпью еще грудного чая». Никто не отвѣчалъ, и онъ вопросительно смотрѣлъ то на меня, то на смотрителя. Что онъ хотѣлъ этимъ сказать, я такъ и не понялъ. Да. Вдругъ помощникъ сдѣлалъ строгое лицо и опять какимъ-то визгливымъ голосомъ закричалъ: «Что за шутки? идемъ». Розовскій очевидно не въ силахъ былъ понять того, что его ожидало, и, какъ будто торопясь, пошелъ, почти побѣжалъ впереди всѣхъ по корридору. Но потомъ онъ уперся,—я слышалъ его пронзительный голосъ и плачъ. Началась возня, топотъ ногъ. Онъ пронзительно визжалъ и

плакалъ. Потомъ дальше и дальше,—зазвенѣла дверь корридора, и все затихло... Да. Такъ и повѣсили. Веревками задушили обоихъ. Сторожъ другой видѣлъ и разсказы-

валъ мнѣ, что Лозинскій не противился, но Розовскій долго бился, такъ что его втащили на эшафотъ и силой вложили ему голову въ петлю. Да. Сторожъ этотъ былъ глуповатый малый. «Мнѣ говорили, баринъ, что страшно. Какъ повисли они,—только два раза такъ плечами»,—онъ показалъ, какъ судорожно поднялись и опустились плечи.—«Потомъ палачъ дернулъ, чтобы, значитъ, петли затянулись получше и шабашъ, и не дрогнули больше». Ничего не страшно,—повторилъ Крыльцовъ слова сторожа и хотѣлъ улыбнуться, но вмѣсто улыбки разрыдался.

Долго послѣ этого онъ молчалъ, тяжело дыша и глоталъ подступавшія къ его горлу рыданія.

«Съ тѣхъ поръ я и сдѣлался революціонеромъ. Да»,—сказалъ онъ успокоившись и вкратцѣ досказалъ свою исторію.

Онъ принадлежалъ къ партіи народовольцевъ и былъ даже главою дезорганизаціонной группы, имѣвшей цѣлью принудить правительство само отказаться отъ власти и призвать къ ней народъ. Съ этой цѣлью онъ ѣздилъ то въ Петербургъ, то за-границу, то въ Кіевъ, то въ Одессу и вездѣ имѣлъ успѣхъ. Человѣкъ, на котораго онъ вполнѣ полагался, выдалъ его. Его арестовали, судили, продержали два года въ тюрьмѣ и приговорили къ смертной казни, замѣнивъ ее безсрочной каторгой.

Въ тюрьмѣ у него началась чахотка и теперь въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ онъ находился, ему очевидно, осталось едва нѣсколько мѣсяцевъ жизни, и онъ зналъ это и не раскаивался въ томъ, что онъ дѣлалъ, а говорилъ, что если бы у него была другая жизнь, онъ ее употребилъ бы на то же самое,—на разрушеніе того порядка вещей, при которомъ возможно было то, что онъ видѣлъ.

ВРАЖЬЕ ЛѢПКО, А БОЖЬЕ КРѢПКО.

Разсказъ Л. Н. Толстого

Жилъ въ старинныя времена добрый хозяинъ. Всего у него было много, и много рабовъ служило ему. И рабы хвалились господиномъ своимъ. Они говорили: «Нѣтъ подъ небомъ господина лучше вашего. Онъ насъ и кормитъ, и одѣваетъ хорошо, и работу даетъ по силамъ, никого словомъ не оскорбитъ и ни на кого зла не держитъ, не такъ, какъ другіе господа своихъ рабовъ хуже скотовъ мучаютъ и за вину и безъ вины казнятъ и добраго слова не скажутъ. Нашъ —намъ добра хочетъ и добро дѣлаетъ и доброе говоритъ намъ. Намъ лучшаго житья не нужно».

Такъ хвалились рабы господиномъ своимъ. И вотъ досадно стало дьяволу, что живутъ хорошо и по любви рабы съ господиномъ своимъ. И завладѣлъ дьяволъ однимъ изъ рабовъ господина этого, Алебомъ. Завладѣвъ имъ, велѣлъ ему соблазнять другихъ рабовъ. И когда отдыхали всѣ рабы и хвалили господина своего, поднялъ голосъ Алебъ и сказалъ: «Напрасно хвалитесь вы, братцы, добротою господина нашего. Начни угождать дьяволу, и дьяволъ добрый станетъ. Мы нашему господину хорошо слу-

жимъ, во всемъ угождаемъ. Только задумаетъ онъ что, мы то и дѣлаемъ, мысли его угадываемъ. Какъ же ему съ нами добрымъ не быть? А перестаньте-ка угождать, да сдѣлайте ему худо, и онъ такой же, какъ и всѣ, будетъ и за зло отплатить зломъ хуже, чѣмъ самые злые господа». И стали другіе рабы спорить съ Алебомъ. И спорили и побились объ закладъ Взялся Алебъ разсердить добраго господина. Взялся съ тѣмъ уговоромъ, что если онъ не разсердитъ, то лишается своей праздничной одежды, а если разсердитъ, то обѣщали ему каждый отдать свою праздничную одежду, и, кромѣ того, обѣщались защитить его отъ господина, если закуютъ его въ желѣзо, или въ темницу посадятъ, то выпустить его. Побились объ закладъ, и на другое утро обѣщалъ Алебъ разсердить хозяина.

Служилъ Алебъ у хозяина въ овчарнѣ, ходилъ за племенными дорогими баранами. И вотъ, на утро, когда пришелъ добрый господинъ съ гостями въ овчарню и сталъ имъ показывать своихъ любимыхъ дорогихъ барановъ, мигнулъ дьяволовъ работникъ товарищамъ: смотрите, сейчасъ разсержу хозяина. Собрались всѣ рабы, смотрятъ въ двери и черезъ ограду, а дьяволъ влѣзъ на дерево

и смотритъ оттуда во дворъ, какъ будетъ ему служить его работникъ. Походилъ хозяинъ по двору, показалъ гостямъ овецъ и ягнятъ, и захотѣлъ показать лучшаго своего барана. «Хороши, говоритъ, и другіе бараны, а вонъ тотъ, что съ крутыми рогами, тому цѣны нѣтъ, онъ для меня глаза дороже». Шарахаются отъ народа по двору овцы и бараны, и не могутъ разсмотрѣть гости дорогого барана. Только остановится этотъ баранъ, такъ дьяволовъ работникъ, какъ будто ненарокомъ, пугнетъ овецъ и опять всѣ смѣшаются. Не могутъ разобрать гости, который безцѣнный баранъ. Вотъ, наскучило это хозяину. Онъ и говоритъ: «Алебъ другъ любезный, потрудись ты, поймай осторожно лучшаго барана съ крутыми рогами и подержи его». И только сказалъ это хозяинъ, бросился Алебъ, какъ левъ, въ середину барановъ и ухватилъ безцѣннаго барана за волну. Ухватилъ за волну и тотчасъ перехватилъ одной рукой за заднюю лѣвую ногу, поднялъ ее, и, прямо на глазахъ хозяина, рванулъ ногу кверху, и хрустнула она какъ лутошка. Сломалъ Алебъ дорогому барану ногу ниже колѣна. Заблеялъ баранъ и упалъ на переднія колѣна. Перехватилъ Алебъ за правую ногу, а лѣвая вывернулась и повисла какъ

плеть. Ахнули и гости и рабы всѣ, и зарадовался дьяволъ, когда увидѣлъ, какъ умно сдѣлалъ свое дѣло Алебъ Сталъ чернѣе ночи хозяинъ, нахмурился, опустилъ голову и не сказалъ ни слова. Молчали и гости и рабы... Ждали, что будетъ. Помолчалъ хозяинъ, потомъ отряхнулся, какъ будто съ себя скинуть что хочетъ, и поднялъ голову и уставилъ глаза на небо. Недолго смотрѣлъ онъ и морщины разошлись на лицѣ, и онъ улыбнулся и опустилъ глаза на Алеба. Онъ поглядѣлъ на Алеба, улыбнулся и сказалъ: «о, Алебъ, Алебъ! твой хозяинъ велѣлъ тебѣ меня разсердить. Да мой хозяинъ сильнѣе твоего: и ты не разсердилъ меня, а разсержу же я твоего хозяина. Ты боялся, что я накажу тебя, и ты хотѣлъ быть вольнымъ, Алебъ; такъ знай же, что не будетъ тебѣ отъ меня наказанія, а хотѣлъ ты быть вольнымъ, такъ вотъ при гостяхъ моихъ отпускаю тебя на волю. Ступай на всѣ четыре стороны и возьми свою праздничную одежду.

И пошелъ добрый господинъ съ гостями своими домой. А дьяволъ заскрежеталъ зубами, свалился съ дерева и провалился сквозь землю.

Недавно въ публичномъ домѣ одного изъ поволжскихъ городовъ служилъ человѣкъ лѣтъ сорока, по имени Васька, по прозвищу Красный. Прозвище было дано ему за его ярко-рыжіе волосы и толстое лицо цвѣта сырого мяса.

Толстогубый, съ большими ушами, которыя торчали на его черепѣ, какъ ручки на рукомойникѣ, онъ поражалъ людей жестокимъ выраженіемъ своихъ маленькихъ, безцвѣтныхъ глазъ; они заплыли у него жиромъ, блестѣли какъ льдины, и, несмотря на его сытую, мясистую фигуру, всегда взглядъ его имѣлъ такое выраженіе, какъ будто этотъ человѣкъ былъ смертельно голоденъ. Невысокій и коренастый, онъ носилъ синій казакинъ, широкія суконныя шаровары и ярко вычищенные сапоги съ мелкимъ наборомъ. Рыжіе волосы его вились кудрями, и когда онъ надѣвалъ на голову свой щегольской картузъ, они, выбиваясь изъ-подъ картуза кверху, ложились на околышъ картуза — тогда казалось, что на головѣ у Васьки надѣтъ красный вѣнокъ.

Краснымъ его звали товарищи, а дѣвицы прозвали его Палачомъ, потому что онъ любилъ истязать ихъ.

Въ городѣ было нѣсколько выскихъ учебныхъ заведеній, много молодежи, поэтому дома терпимости составляли въ немъ цѣлый кварталъ: длинную улицу и нѣсколько переулковъ. Васька былъ извѣстенъ во всѣхъ домахъ этого квартала, его имя наводило страхъ на дѣвицъ, и когда онѣ почему-нибудь осорились и вздорили съ хозяйкой — хозяйка грозила имъ:

— Смотрите вы!... Не выводите меня изъ терпѣнья... а то какъ позову я Ваську Краснаго!..

Иногда достаточно было одной этой угрозы, чтобы дѣвицы усмирились и отказались отъ своихъ требованій, порой вполнѣ законныхъ и справедливыхъ, какъ, напримѣръ, требованіе улучшенія пищи или права уходить изъ дома на прогулку. А если одной угрозы оказывалось недостаточно для усмиренія дѣвицъ, — хозяйка звала Ваську.

Онъ приходилъ медленно походкой человѣка, которому некуда было торопиться, запирался съ хозяйкой въ ея комнатѣ, и тамъ хозяйка указывала ему

подлежащихъ наказанію дѣвицъ.

Молча выслушавъ ея жалобу, онъ кратко говорилъ ей:

— Ладно...

И пошелъ къ дѣвицамъ. Онѣ блѣднѣли и дрожали при немъ, онъ это видѣлъ и наслаждался ихъ страхомъ. Если сцена разыгрывалась въ кухнѣ, гдѣ дѣвицы обѣдали и пили чай, — онъ долго стоялъ у дверей, глядя на нихъ, молчаливый и неподвижный, какъ статуя, и моменты его неподвижности были не менѣе мучительны для дѣвицъ, какъ и тѣ истязанія, которымъ онъ подвергалъ ихъ.

Посмотрѣвъ на нихъ, онъ говорилъ равнодушнымъ и сиплымъ голосомъ:

— Машка! Иди сюда...

— Василій Миронычъ! — умоляюще и рѣшительно говорила иногда дѣвушка: — ты меня не тронь! Не тронь.... тронешь — удавляюсь я....

— Иди, дура, веревку дамъ... — равнодушно, безъ усмѣшки говорилъ Васька.

Онъ всегда добивался, чтобъ виновныя сами шли къ нему.

— Караулъкричать буду.... Стекла выбью...— задыхаясь отъ страха, перечисляла дѣвица все, что она можетъ сдѣлать.

— Бей стекла... а я тебя заставлю жрать ихъ... — говоритъ Васька.

И упрямая дѣвица въ большинствѣ случаевъ сдавалась, подходила къ Палачу; если же она не хотѣла сдѣлать этого, Васька самъ шелъ къ ней, бралъ ее за волосы и бросалъ на полъ. Ея же подруги, — а зачастую и единомышленницы, — связывали ей руки и ноги, завязывали ротъ и тутъ же, на полу кухни и на глазахъ у нихъ, виновную пороли. Если это была бойкая дѣвица, которая могла и пожаловаться, ее пороли толстымъ ремнемъ, чтобы не разсѣчь ея кожу, и сквозь простыню, смоченную водой, чтобы на тѣлѣ не оставалось кровоподтековъ. Употребляли также длинные и тонкіе мѣшочки, набитые пескомъ и дресвой, — ударъ такимъ мѣшомъ по ягодицамъ причинялъ человѣку тупую боль, и боль эта не проходила долго...

Впрочемъ, жестокость наказанія зависѣла не столько отъ характера виновной, сколько отъ степени ея вины и симпатіи Васьки. Иногда онъ и смѣлыхъ

дѣвицъ поролъ безъ всякихъ предосторожностей и пощады; у него въ карманѣ шароваровъ всегда лежала плетка о трехъ концахъ на короткой дубовой рукояткѣ, отполированной частымъ употребленіемъ. Въ ремни этой плетки была искусно вдѣлана проволока, изъ которой на концахъ ремней образовывалась кисть. Первый же ударъ плетки просѣкалъ кожу до костей, и часто, для того, чтобы усилить боль, на изсѣченную спину приклеивали горчичникъ или же клали тряпки, смоченныя круто-соленой водой.

Наказывая дѣвицъ, Васька никогда не злился, онъ былъ всегда одинаково молчаливъ, равнодушенъ, и глаза его никогда не теряли выраженія ненасытнаго голода, лишь порой онъ прищуривалъ ихъ, отчего они становились острѣе...

Пріемы наказаній не ограничивались только этими, нѣтъ — Васька былъ неисчерпаемо разнообразенъ, и его изощренность въ дѣлѣ истязанія дѣвицъ возвышалась до творчества.

Напримѣръ: въ одномъ изъ заведеній дѣвица Вѣра Коптева была заподозрѣна гостемъ въ кражѣ у него пяти тысячъ рублей. Гость этотъ, сибирскій купецъ, заявилъ полиціи, что онъ былъ въ комнатѣ Вѣры съ нею и ея подругой Сарой Шерманъ; послѣдняя, посидѣвъ съ нимъ около часу, ушла, а съ Вѣрой онъ оставался всю ночь и ушелъ отъ нея пьяный.

Дѣлу данъ былъ законный ходъ; долго тянулось слѣдствіе, обѣ обвиняемыя были подвергнуты предварительному заключенію, судились и, по недостатку уликъ, были оправданы.

Возвратясь послѣ суда къ своей хозяйкѣ, подруги снова попали подъ слѣдствіе; хозяйка была увѣрена, что кража — дѣло ихъ рукъ, и желала получить отъ нихъ свою долю.

Сарѣ удалось доказать, что она ни при чемъ въ этой кражѣ; тогда хозяйка ревностно принялась за Вѣру Коптему. Она заперла ее въ баню и тамъ кормила соленой икрой, но, несмотря на это и многое другое, дѣвица не сознавалась, гдѣ спрятала деньги. Пришлось прибѣгнуть къ помощи Васьки.

Ему было обѣщано сто рублей, если онъ допытается, гдѣ деньги.

И вотъ, однажды ночью, въ баню, гдѣ сидѣла Вѣра, мучимая жаждой, страхомъ и тьмой, явился дьяволъ.

Онъ былъ въ черной лохматой шерсти, а отъ шерсти его исходилъ запахъ фосфора и голубоватый свѣтящійся дымъ. Двѣ огненныя искры сверкали у него вмѣсто глазъ. Онъ сталъ передъ дѣвушкой и страшнымъ голосомъ спросилъ ее:

— Гдѣ деньги?..

Она сошла съ ума отъ ужаса.

Это было зимой. Поутру другого дня ее, босую и въ одной рубашкѣ, вели изъ бани въ домъ по глубокому снѣгу, она же тихонько смѣялась и говорила счастливымъ голосомъ:

— Завтра я съ мамой опять пойду къ обѣднѣ... опять пойду... опять къ обѣднѣ...

Когда Сара Шерманъ увидала ее такой, она тихо и растерянно объявила при всѣхъ:

— А вѣдь деньги-то украла я...

Трудно сказать, чего больше было у дѣвицъ въ отношеніи къ Васькѣ — страха предъ нимъ или ненависти къ нему.

Всѣ онѣ заигрывали съ нимъ и заискивали у него, каждая изъ нихъ усердно добивалась чести быть его любовницей, и въ то же время всѣ онѣ подговаривали своихъ «кредитныхъ» друзей сердца, гостей и знакомыхъ «вышибалъ» избивать Ваську. Но онъ обладалъ страшной силой и допьяна никогда не напивался — трудно было сладить съ нимъ. Неразъ ему подсыпали мышьякъ въ пищу, чай и пиво и однажды довольно уфачно, но онъ выздоровѣлъ. Онъ какъ-то узнавалъ обо всемъ, что предпринималось противъ него; но незамѣтно было, чтобъ знаніе того, чѣмъ онъ рискуетъ, живя среди безчисленныхъ враговъ, понижало или повышало его холодную жестокость къ дѣвицамъ. Равнодушно, какъ всегда, онъ говорилъ:

— Знаю я, что вы меня зубами бы загрызли, кабы случай вышелъ вамъ... Ну, только напрасно вы ярритесь... ничего со мной не будетъ.

И оттопыривъ свои толстыя губы, онъ фыркалъ въ лица имъ — должно быть, смѣялся надъ ними.

Онъ водилъ компанію съ полицейскими, съ такими же, какъ самъ онъ, «вышибалами» и съ сыщиками, которыхъ всегда много бываетъ въ публичныхъ домахъ. Но среди нихъ у него не было друзей, ни одного изъ своихъ знакомыхъ онъ не желалъ видѣть чаще другихъ, ко всѣмъ относился одинаково равно и

совершенно безучастно.

Съ ними онъ пилъ пиво и говорилъ о скандалахъ, каждую ночь случавшихся въ околоткѣ. Самъ онъ никуда не ходилъ изъ своего дома, если его не звали «по дѣлу», т. е. затѣмъ, чтобы выпороть или — какъ тамъ говорилсь — «постращать» чью-нибудь дѣвицу.

Домъ, въ которомъ онъ служилъ, принадлежалъ къ числу заведенiй средней руки, за входъ въ него съ гостей брали по три рубля, за ночь — по пяти. Хозяйка дома, Θекла Ермолаевна, сырая, дородная женщина лѣтъ подъ пятьдесятъ, была глупа, зла, побаивалась Васьки, очень цѣнила его и платила ему по пятнадцати рублей въ мѣсяцъ при ея столѣ и квартирѣ — маленькой, гробообразной комнатѣ на чердакѣ. Въ ея заведенiи, благодаря Васькѣ, среди дѣвицъ царилъ самый образцовый порядокъ; ихъ было одинадцать, и всѣ онѣ были смирны, какъ овцы.

Находясь въ добродушномъ настроенiи и разговаривая съ знакомымъ гостемъ, Θекла Ермолаевна часто хвасталась своими дѣвицами, какъ хвастаются свиньями или коровами.

— У меня товарецъ первый сортъ, — говорила она, улыбаясь довольно и гордо. — Дѣвочки всѣ свѣжiя, ядренныя — самая старшая имѣетъ двадцать шесть лѣтъ. Она, положимъ, дѣвица въ разговорѣ не интересная, такъ зато въ какомъ тѣлѣ! Вы посмотрите, батюшка — дивное диво, а не дѣвица. — Ксюшка! Поди сюда...

Ксюшка подходила, уточкой переваливаясь съ бока на бокъ, гость «смотрѣлъ» ее болѣе или менѣе тщательно и всегда оставался доволенъ ея тѣломъ.

Это была дѣвушка средняго роста, толстая и такая плотная — точно ее молотками выковали. Грудь у нея могучая, высокая, лицо круглое, ротъ маленькiй съ толстыми, ярко-красными губами. Безотвѣтные и ничего не выражавшiе глаза напоминали о двухъ бусахъ на лицѣ куклы, а курносый носъ и кудерки надъ бровьями, довершая ея сходство съ куклой, даже у самыхъ невзыскательныхъ гостей отбивали всякую охоту говорить съ нею о чемъ-либо. Обыкновенно ей просто говорили:

— Пойдемъ!..

И она шла своей тяжелой, качающейся походкой, безсмысленно улыбаясь и поводя глазами справа налѣво, чему ее научила хозяйка и что называлось «завлекать гостя». Ея глаза такъ привыкли къ этому

движенію, что она начиналая «завлекать гостя» прямо съ того момента когда, пышно разодѣтая, выходила вечеромъ въ залъ еще пустой, и такъ ея глаза двигались изъ стороны въ сторону все время, пока она была въ залѣ: одна, съ подругами или гостемъ — все равно.

У нея была еще одна странность: обвивъ свою длинную косу, цвѣта новаго мочала, вокругъ шеи, она опускала конецъ ея на грудь и все время держалась за нее лѣвой рукой, точно петлю носила на шеѣ своей...

Она могла сообщить о себѣ, что зовутъ ее Аксинья Калугина, а родомъ она изъ Рязанской губерніи, что она дѣвица, «согрѣшила» однажды съ «Ѳедькой», родила и пріѣхали въ этотъ городъ съ семействомъ «акцизнаго», была у него кормилицей, а потомъ, когда ребенокъ умеръ, ей отказали отъ мѣста и «наняли» сюда. Вотъ уже четыре года она живетъ здѣсь...

— Нравится? — спрашивали ее.

— Ничего. Сыта, обута, одѣта... Только безпокойно вотъ... И Васька тоже... дерется все, чортъ...

— Зате весело?!

— Гдѣ? — спрашивала она, «завлекая гостя».

— Здѣсь-то... развѣ не весело?

— Ничего!.. — отвѣчала она и, поворачивая головой, осматривала залъ, точно желая увидѣть, гдѣ оно тутъ, это веселье.

Вокругъ нея все было пьяно и шумно, и все, отъ хозяйки и подругъ до формы трещинъ на потолкѣ было знакомо ей.

Говорила она густымъ басовымъ голосомъ, а смѣялась лишь тогда, когда ее щекотали, смѣялась громко, какъ здоровый мужикъ, и вся тряслась отъ смѣха. Самая глупая и здоровая среди своихъ подругъ, она была менѣе несчастна, чѣмъ онѣ, ибо ближе ихъ стояла къ животному.

Разумѣется, больше всего скопилось страха предъ Васькой и ненависти къ нему у дѣвицъ того дома, гдѣ онъ былъ «вышибалой». Въ пьяномъ видѣ дѣвицы не скрывали этихъ чувствъ и громко жаловались гостямъ на Ваську; но, такъ какъ гости приходили къ нимъ не затѣмъ, чтобъ защищать ихъ, жалобы не имѣли смысла и послѣдствій. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда онѣ возвышались до истерическаго крика и рыданій и Васька слышалъ ихъ, — его огненная голова показывалась въ дверяхъ зала и равно-

душный, деревянный голосъ говорилъ:

— Эй ты, не дури...

— Палачъ! Извергъ! — кричала дѣвица. — Какъ ты смѣешь уродовать меня? Посмотрите, господинъ, какъ онъ меня расписалъ плетью... — и дѣвица дѣлала попытку сорвать съ себя лифъ...

Тогда Васька подходилъ къ ней, бралъ ее за руку и, не измѣняя голоса, — что было особенно страшно, — уговаривалъ ее:

— Не шуми::: угомонись. Что орешь безъ толку? — Пьяная ты... смотри!

Почти всегда этого было достаточно, и очень рѣдко Васькѣ приходилось уводить дѣвицу изъ зала.

Никогда никто изъ дѣвицъ не слыхалъ отъ Васьки ни одного ласковаго слова, хотя многія изъ нихъ были его наложницами. Онъ бралъ ихъ себѣ просто: нравилась ему почему-либо та или эта, и онъ говорилъ ей:

— Я къ тебѣ сегодня ночевать приду...

Затѣмъ онъ ходилъ къ ней нѣкоторое время и переставалъ ходить, не говоря ей ни слова.

— Ну и чортъ! — отзывались о немъ дѣвицы.— Совсѣмъ деревянный какой-то...

Въ своеммъ заведеніи онъ жилъ по очереди почти со всѣми дѣвицами, жилъ и съ Аксиньей. И именно во время своей связи съ ней онъ ее однажды жестоко выпоролъ.

Здоровая и лѣнивая, она очень любила спать и часто засыпала въ залѣ, несмотря на шумъ, наполнявшій ее. Сидя гдѣ-нибудь въ углу, она вдругъ переставала «завлекать гостя» своими глупыми глазами, они неподвижно останавливались на какомъ-нибудь предметѣ, потомъ вѣки медленно опускались и закрывали ихъ, и нижняя губа ея отвисала, обнажая крупные, бѣлые зубы. Раздавался сладкій храпъ, вызывая громкій смѣхъ подругъ и гостей, но смѣхъ не будилъ Аксинью.

Съ ней часто случалось это; хозяйка крѣпко ругала ее, била по щекамъ, но побои не спугивали сна — поплачетъ послѣ нихъ Аксинья и снова спитъ.

И вотъ за дѣло взялся Васька.

Однажды, когда дѣвица заснула, сидя на диванѣ рядомъ съ пьянымъ гостемъ, тоже дремавшимъ, Васька подошелъ къ ней и, молча взявъ за руку, повелъ ее за собой.

— Неужто бить будешь? — спросила его Аксинья.

— Надо... — сказалъ Васька.

Когда они пришли въ кухню, онъ велѣлъ ей раздѣться.

— Ты хоть не больно ужъ... — попросила его Аксинья.

— Ну, ну...

Она осталась въ одной рубашкѣ.

— Снимай! — скомандовалъ Васька.

— Экой ты озорникъ! — вздохнула дѣвушка и спустила съ себя рубашку.

Васька хлестнулъ ее ремнемъ по плечамъ.

— Иди на дворъ!

— Что ты? Чай, теперь зима... холодно мнѣ будетъ....

— Ладно! Развѣ ты можешь чувствовать?...

Онъ вытолкнулъ ее въ дверь кухни, провелъ подхлестывая ремнемъ, по сѣнямъ и на дворѣ приказалъ ей лечь на бугоръ снѣга.

— Вася... что ты?

— Ну, ну!

И толкнувъ ее лицомъ въ снѣгъ, онъ втиснулъ въ него ея голову для того, чтобы не было слышно ея криковъ, и долго хлесталъ ее ремнемъ, приговаривая:

— Не дрыхни, не дрыхни, не дрыхни...

Когда же онъ отпустилъ ее, она, дрожащая отъ холода и боли, сквозь слезы и рыданія сказала ему:

— Погоди, Васька! Придетъ твое время... и ты заплачешь! Есть Богъ, Васька!

— Говори! — спокойно сказалъ онъ. — Засника въ залѣ еще разъ! Я тебя тогда выведу на дворъ, выпорю и водой обливать буду...

У жизни есть своя мудрость, ей имя случай; она иногда награждаетъ насъ, но чаще мститъ, и какъ солнце каждому предмету даетъ тѣнь, такъ мудрость жизни каждому поступку людей готовитъ возмездіе. Это вѣрно, это неизбѣжно, и всѣмъ намъ надо знать и помнить это...

Наступилъ и для Васьки день возмездія.

Однажды вечеромъ, когда полуодѣтыя дѣвицы ужинали, передъ тѣмъ какъ идти въ залъ, одна изъ нихъ, Лида Черногорова, бойкая и злая шатенка, взглянувъ въ окно, объявила:

— Васька пріѣхалъ.

Раздалось нѣсколько тоскливыхъ ругательствъ.

— Смотрите-ка! — вскричала Лида. — Онъ... пьяный! Съ полицейскимъ... смотрите-ка!

Всѣ бросилисѣ къ окну.

— Снимаютъ его... не идетъ самъ... Дѣвушки! — радостно вскричали Лида. — Да вѣдь онъ разбился видно!

Въ кухнѣ раздался гулъ ругательствъ и злого смѣха, радостнаго смѣха отомщенныхъ. Дѣвицы, толкая другъ друга, бросались въ сѣни навстрѣчу немощному врагу.

Тамъ они увидали, что полицейскій и извозчикъ ведутъ Ваську подъ руки, а лицо у Васьки сѣрое, на лбу у него выступилъ крупными каплями потъ, и лѣвая нога его волочится за нимъ.

— Василій Мироныч! Что это? — вскричала хозяйка.

Васька безсильно мотнулъ головой и хрипло отвѣтилъ:

— Упалъ...

— Съ конки упалъ... — объяснилъ полицейскій. — Упалъ и — значитъ — нега у него подъ колесо! Хрясть... ну и готово!

Дѣвицы молчали, но глаза у нихъ горѣли, какъ угли.

Ваську внесли наверхъ, въ его комнату, положили на постель и послали за докторомъ. Дѣвицы, стоя передъ постелью, переглядывались другъ съ другомъ, но не говорили ни слова.

— Пошли вонъ! — сказалъ имъ Васька.

Ни одна изъ нихъ не тронулась съ мѣста.

— А! Радуетесь!..

— Не заплачемъ....—отвѣтила Лида, усмѣхаясь.

— Хозяйка! Гони ихъ прочь... Что они.. пришли!

— Боишься? — спросила Лида, наклоняясь къ нему.

— Идите, дѣвки, идите внизъ...—приказывала хозяйка.

Онѣ пошли. Но уходя, каждая изъ нихъ зловѣще взглядывала на него, а Лида тихо сказала:

— Мы придемъ!

Аксинья же, погрозивъ ему кулакомъ, закричала:

— У, дьяволъ! Что — изломался? Такъ тебѣ и надо!..

Очень изумила дѣвицъ такая ея храбрость.

А внизу ихъ охватилъ восторгъ острую сладость

котораго онѣ не испытывали еще до сей поры. Бѣснуясь отъ радости, онѣ издѣвались надъ Васькой, пугая хозяйку своимъ буйнымъ настроеніемъ и немножко заражая ее имъ.

И она тоже рада была видѣть Ваську наказаннымъ судьбой; онъ и ей солонъ былъ, обращаясь съ нею не какъ служащій, а скорѣе какъ начальникъ съ подчиненной. Но она знала, что безъ него не удержать ей дѣвицъ въ повиновеніи, и проявляла свои чувства къ Васькѣ осторожно.

Пріѣхалъ докторъ, наложилъ повязки, прописалъ рецепты и уѣхалъ, сказавъ хозяйкѣ, что лучше бы отправить Ваську въ больницу.

— Дѣвицы! Что же, навѣстимъ что ли больного-то душеньку нашего?! — ухарски вскричала Лида.

И всѣ онѣ бросились наверхъ со смѣхомъ и криками.

Васька лежалъ, закрывъ глаза и, не открывая ихъ, сказалъ:

— Опять вы пришли...

— Чай, намъ жалко тебя, Василь Мироычъ....

— Развѣ мы тебя не любимъ?

— Вспомни, какъ ты меня...

Онѣ говорили не громко, но внушительно и, окруживъ его постель, смотрѣли въ его сѣрое лицо злыми и радостными глазами. Онъ тоже смотрѣлъ на нихъ, и никогда раньше въ его глазахъ не выражалось такъ много неудовлетвореннаго, ненасытнаго голода, того непонятнаго голода, который всегда блестѣлъ въ нихъ.

— Дѣвки.... смотрите! Встану я....

— А, можетъ, Богъ дасть, не встанешь....... — перебила его Лида.

Васька плотно сжалъ губы и замолчалъ.

— Которая ножка-то болитъ?—ласкаво спросила одна изъ дѣвицъ, наклоняясь къ нему, — лицо у ней было блѣдно и зубы оскалены. — Эта, что-ли?

И схвативъ Ваську за больную ногу, она съ силой дернула ее къ себѣ.

Васька щелкнулъ зубами и закрычалъ. Лѣвая рука у него тоже была разбита, онъ взмахнулъ правой и, желая ударить дѣвицу, ударилъ себя по животу.

Взрывъ смѣха раздался вокругъ него.

— Дѣвки!—ревѣлъ онъ, страшно вращая глазами.—Берегись!.... убивать буду!.....

Но онѣ прыгали вокругъ его кровати и щипали, рвали его за волосы, плевали въ лицо ему, дергали за больную ногу. Ихъ глаза горѣли, онѣ смѣялись, ругались, рычали, какъ собаки, ихъ издѣвательства надъ нимъ принимали невыразимо гадкій и циничный характеръ. Онѣ впали въ упоеніе местью, дошли въ ней до бѣшенства. Всѣ въ бѣломъ, полуодѣтыя, разгоряченныя толкотней, онѣ были чудовищно-страшны.

Васька рычалъ, размахивая правой рукой; хозяйка, стоя у двери, выла дикимъ голосомъ:

— Будетъ! Бросьте... полицію позову! Убьете вы.... батюшки! батюшки!

Но онѣ не слушали ея. Онъ истязалъ ихъ года, онѣ возмещали ему минутами и торопились....

Вдругъ среди шума и воя этой оргіи раздался густой, умоляющій голосъ:

— Дѣвушки! Будетъ ужъ..... Дѣвушки, пожалуйте.... Вѣдь онъ тоже.... тоже вѣдь.... больно ему! Милыя! Христа ради..... Милыя...

На дѣвицъ этотъ голосъ подѣйствовалъ, какъ струя холодной воды: онѣ испуганно и быстро отошли отъ Васьки.

Говорила Аксинья; она стояла у окна и вся дрожала и въ поясъ кланялась имъ, то прижимая руки къ животу, то нелѣпо простирая ихъ впередъ.

Васька лежалъ неподвижно; рубашка на его груди была разорвана, и эта широкая грудь, поросшая густой рыжей шерстью, вся трепетала, точно въ ней билось что-то, билось, бѣшено стремясь вырваться изъ нея. Онъ хрипѣлъ, и глаза его были закрыты.

Столпившись въ кучу, какъ бы слѣпленный въ одно большое тѣло, дѣвицы стояли у дверей и молчали, слушая, какъ Аксинья глухо бормочетъ что-то и какъ хрипитъ Васька. Лида, стоя впереди всѣхъ, быстро очищала свою правую руку отъ рыжихъ волосъ, запутавшихся между ея пальцами.

А.... какъ умретъ? — раздался чей-то шопотъ. И снова стало тихо...

Одна за другой, стараясь не шумѣть, дѣвицы осторожно выходили изъ Васькиной комнаты, и когда онѣ всѣ ушли, на полу комнаты оказалось много какихъ-то клочьевъ, лоскутковъ....

Въ комнатѣ осталась Аксинья.

Тяжело вздыхая, она подошла къ Васькѣ и обычнымъ своимъ басовымъ голосомъ спросила его:

—Что тебѣ сдѣлать теперь?

Онъ открылъ глаза, посмотрѣлъ на нее и не отвѣтилъ ничего.

— Ну, говори ужъ... Выпить.... прибрать..... такъ вотъ я прибрала бы.... А то, можетъ, воды выпить хочешь? И воды дамъ..... .

Васька молча тряхнулъ головой, и губы у него зашевелились. Но онъ не сказалъ ни слова.

— Вонъ какъ — и говорить-то не можешь! — молвила Аксинья, обертывая косу вокругъ шеи. — До чего замучили мы тебя..... Больно, Вася? а?.... Ну, ужъ потерпи... вѣдь это пройдетъ..... это сперва только больно..... я знаю.

На лицѣ Васьки что-то дрогнуло, онъ хрипло сказалъ:

— Дай.... водицы......

И выраженіе неудовлетворительнаго голода исчезло изъ его глазъ.

Аксинья такъ и осталась наверху, у Васьки, спускаясь внизъ лишь затѣмъ, чтобы поѣсть, попить чаю и взять чего -нибудь для больного. Подруги не разговаривали съ ней, ни о чемъ не спрашивали ея, хозяйка тоже не мѣшала ей ухаживать за больнымъ и вечерами не вызывала ее къ гостямъ. Обыкновенно Аксинья сидѣла въ Васьковой комнатѣ у окна и смотрѣла въ него на крыши, покрытыя снѣгомъ, на деревья, бѣлыя отъ инея, на дымъ, опаловыми обламками поднимвшійся къ небу. Когда ей надоѣдало смотрѣть, она засыпала тутъ-же, на стулѣ, облокотясь о столъ. Ночью она спала на полу, около Васькиной кровати.

Они почти не разговаривали; попроситъ Васька воды или еще чего ни-будь — Аксинья принесетъ ему, посмотритъ на него, вздохнетъ и отойдетъ къ окну.

Такъ прошло дня четыре. Хозяйка усердно хлопотала о помѣщеніи Васьки въ больницу, но мѣста тамъ пока не было.

И вотъ однажды вечеромъ, когда Васькина комната уже наполнилась сумракомъ, онъ, приподнявъ голову, спросилъ:

— Аксинья, ты тутъ что ли?

Она дремала, но его вопросъ разбудилъ ее.

— А гдѣ же? — отозвалась она.

— Поди-ка сюда.....

Она подошла къ кровати и остановилась у нея, по обыкновенію обвивъ косу вокругъ шеи и держась рукой за конецъ ея.

— Чего тебѣ?

—Возьми стулъ, сядь сюда....

Вздохнувъ, она пошла къ окну за стуломъ, принесла его къ постели и сѣла.

— Ну?

— Ничего я... посиди, молъ, тутъ.....

На стѣнѣ, надъ постелью Васьки висѣли его большіе серебрянные часы и торопливо тикали По улицѣ быстро пролетѣлъ извозчикъ, слышно было какъ взвизгнули полозья. Внизу смѣялись дѣвицы, а одна изъ нихъ высокимъ голосомъ пѣла:

«...Па-алюбила студента га-алодна-ва......

Аксинья!—сказалъ Васька.

— А?

— Ты вотъ что... давай со мной жить.

— Живемъ вѣдь и такъ....— лѣниво отвѣтила дѣвушка.

— Нѣтъ, ты погоди...—давай какъ слѣдуетъ....

— Давай.... — согласилась она.

— Ну, вотъ...

Онъ опять замолчалъ и долго лежалъ съ закрытыми глазами.

— Вотъ... Уйдемъ отсюда и заживемъ.

— Куда уйдемъ?—спросила Аксинья.

— Куда-нибудь... Я буду съ конки за увѣчье искать... Заплатятъ, по закону должны заплатить. Потомъ у меня свои деньги есть, рублей шестьсотъ.

Сколько? — спросила Аксинья.

— Рублей шестьсотъ.

— Ишь ты!—сказала дѣвушка и зѣвнула.

— Да.... на однѣ эти деньги можно свое заведеніе открыть..... да ежели еще съ конки сорвать...... Поѣдемъ въ Симбирскъ, а то въ Самару.... и тамъ откроемъ..... Первый домъ въ городѣ будетъ... Дѣвокъ наберемъ самыхъ лучшихъ..... По пяти рублей за входъ брать будемъ.

— Говори!—усмѣхнулась Аксинья.

Чего тамъ? Такъ и будетъ....

— Какъ же!....

— Такъ говорю и будетъ.... ежели ты хочешь—обвѣнчаемся.

— Чего-о?!—воскликнула Аксинья, глупо хлопая глазами.

— Обвѣнчаемся.... — съ какимъ-то безпокойствомъ повторилъ Васька.

— Мы съ тобой?

— Ну, да....

Аксинья громко засмѣялась. Качаясь по стулѣ, она взялась за бока и то смѣялась густо, басовыми нотами, то возвизгивала, что было совершенно неестественно для нея.

— Чего ты? — спросилъ Васька, и опять что-то голодное явилось въ его глазахъ. А она все хохотала. — Чего ты? — спрашивалъ онъ ее.

Наконецъ, кое-какъ сквозь смѣхъ и визгъ она высказалась:

— Насчетъ вѣнчанья... Развѣ это можно? Да я и въ церкви-то три года не была.... а можетъ быть и больше.... Чудакъ! Ишь, нашелъ жену! Дѣтей не ждешь ли отъ меня? ха, ха, ха!...

Мысль о дѣтяхъ вызвала у нея новый взрывъ искренняго хохота. Васька смотрѣлъ на нее и молчалъ...

— Да и развѣ я пойду съ тобой куда-нибудь? Ишь ты... тоже. Ты завезешь меня, да и убьешь гдѣ-нибудь...... Вѣдь ты мучитель извѣстный.

— Ну, молчи ужъ! — тихо сказалъ Васька.

Но она стала говорить ему о его жестокости, вспоминая разные случаи.

— Молчи! — просилъ онъ ее, а когда она не послушалась, онъ хрипло крикнулъ: — молчи, говорю!

Въ этотъ вечеръ они не говорили больше. Ночью у Васьки былъ бредъ: изъ широкой груди его вырывался хрипъ, вой. Васька скрежеталъ зубами и размахивалъ въ воздухѣ правой рукой, иногда ударяя ею себя въ грудь.

Аксинья проснулась, встала на ноги у постели и долго со страхомъ смотрѣла въ его лицо. Потомъ разбудила его.

— Что ты это? Домовой тебя душилъ, что ли?

— Такъ, привидѣлось... — слабо сказалъ Васька. — Дай-ка водицы.

Выпивъ воды, онъ помоталъ головой и объявилъ:

— Нѣтъ, не открою я заведенія.... лучше торговлей займусь..... лучше! А заведенія не надо.....

— Торговля..... — задумчиво сказала Аксинья. — Н-да.... лавочку открыть — это хорошо.

— Пойдешь со мной что ли? — убѣдительно и

тихо спросилъ Васька.

— Да ты никакъ въ сурьезъ спрашиваешь? — воскликнула Аксинья, ототвугаясь отъ кровати.

— Аксинья Семеновна! — звенящимъ голосомъ сказалъ Васька, приподнявъ голову съ подушки. — Вотъ тебѣ.......

И замолчалъ, взмахнувъ рокой въ воздухѣ.

— Никуда я съ тобой не пойду.... — рѣшительно мотая головой, заговорила Аксинья, не дождавшись отъ него словъ. — Никуда!

— Захочу — пойдешь... — тихо сказалъ Васька.

— Ни-куда не пойду!

— Только не хочу я такъ.... А ежели захотѣлъ бы.... пойдешь!

— Нѣтъ ужъ.....

— Да чортъ! — раздраженно крикнулъ Васька: — вѣдь вотъ ты со мной канителишься... шевыряешься тутъ..... чего же?

— Это другое дѣло.... — резонно сказала Аксинья. — А что бы съ тобой жить — нѣтъ! боюсь я тебя.... очень ужъ ты злодѣй!

— Эхма! Что ты понимаешь?! — зло воскликнулъ Васька.—Злодѣй! Дура ты... Думаешь—злодѣй, такъ и все тутъ? Думаешь—легко, если злодѣй?

Голосъ у него оборвался, и Васька помолчалъ немного, растирая грудь здоровой рукой. Потомъ, тихо съ тоской въ голосѣ и страхомъ въ глазахъ снова заговорилъ:

— Что ужъ вы.... очень? Ну злодѣй... такъ развѣ весь человѣкъ въ этомъ? Эхъ!..... Чего у меня спрашивали?.... Пойдемъ, Аксинья Семеновна!

— И не говори про это! Не пойду.... — упорно стояла на своемъ Аксинья и подозрительно отодвигалась отъ него.

Опять оборвался ихъ разговоръ. Въ комнату смотрѣла луна, и отъ ея свѣта Васькино лицо казалось сѣрымъ. Онъ долго лежалъ молча, то открывая, то закрывая глаза. Внизу—танцовали, пѣли, хохотали. Раздался сочный храпъ Аксиньи; Васька глубоко вздохнулъ.

Прошло еще дня два, и хозяйка устроила Васькѣ мѣсто въ больницѣ.

Пріѣхалъ за нимъ больничный фургонъ съ фельдшеромъ и служащимъ. Ваську осторожно свели сверху въ кухню, и тамъ онъ увидѣлъ всѣхъ дѣвицъ, стол-

пившихся у двери въ комнату.

Лицо его перекосилось, однако онъ ничего не сказалъ имъ. Онѣ смотрѣли на него сурово и серьезно, но по ихъ глазамъ нельзя было бы опредѣлить, что онѣ думаютъ при видѣ Васьки. Аксинья съ хозяйкой надѣвали на него пальто, и всѣ въ кухнѣ тяжело и хмуро молчала.

— Прощайте! — вдругъ сказалъ Васька, наклонивъ голову и не глядя на дѣвицъ. — Про... прощайте!

Нѣкоторыя изъ нихъ молча поклонились ему, но онъ не видѣлъ этого; а Лида спокойно сказала:

— Прощай, Василій Миронычъ...

— Прощайте... да...

Фельдшеръ и больничный служитель взяли его подъ мышки и, поднявъ съ лавки, повели къ двери. Но онъ опять поворотился къ дѣвицамъ:

— Прощайте... былъ я... точно что...

Еще два три голоса сказали ему:

— Прощай, Василій...

— Ничего не подѣлаешь! — тряхнулъ онъ головой, и на лицѣ его явилось что-то удивительно не подходившее къ нему. — Прощайте! Христа ради... которыя... которымъ....

— Увозятъ! Уве-езутъ его, маво милаго.... — вдругъ дико завыла Аксинья, грохнувшись на лавку.

Васька дрогнулъ и поднявъ голову кверху. Глаза у него страшно заблестѣли: онъ стоялъ, внимательно вслушиваясь въ этотъ вой, и дрожащими губами тихо говорилъ:

— Вотъ... дура! Вотъ такъ ду-ура!

— Идите, идите! — торопился фельдшеръ, хмуря брови.

— Прощай Аксинья! Приходи въ больницу-то... — громко сказалъ Васька.

А Аксинья все выла...

— И на-кого-и-ты-это-меня по-оки-инулъ?..

Дѣвицы окружили ее и смотрѣли тупыми глазами на ея лицо и на слезы, лившіеся изъ глазъ ея.

А Лида, наклонясь надъ ней, сурово утѣшала ее:

— Ну, что ты, Ксюшка, ревешь-то! Вѣдь не умеръ онъ... Ну, пойдешь къ нему... ну, вотъ завтра, возьми да и пойди!

———«o»———

А. СЕРАФИМОВИЧЪ.

НОЧЬЮ.

НОЧЬЮ.

I.

Во мракѣ шумѣлъ холодный вѣтеръ и бурлила рѣка. За желѣзнодорожной насыпью вздымалось море. Въ темнотѣ не видно было ни волнъ, ни бѣлей полосы прибоя, только слышно было, какъ что-то вздувалось тяжко и шумно, обдавая по вѣтру насыпь соленою пѣной и влагой, потомъ въ безсиліи съ плескомъ и шипѣніемъ разливалось у подножія насыпи, шумъ и плескъ стихали, удалялись въ глубь непроницаемаго мрака, на секунду наступила тишина, все смолкало, и потомъ снова нарождались, разростались и заполняли темноту ночи грозные голоса моря. Вверху гудѣла телеграфная проволока, и металлическій, за душу хватающій унылымъ однообразіемъ звукъ, ни на минуту не ослабѣвая, бѣжалъ, выдѣляясь изъ всѣхъ другихъ звуковъ бурной ночи и разыгравшагося моря. Отъ телеграфныхъ столбовъ тоже несся однообразный ровный и таинственный гулъ.

Во дворъ маленькаго домика, пріютившагося у самой насыпи, вышелъ босой въ одномъ бѣльѣ хозяинъ,

мелкій торговецъ. На секунду по землѣ, по огорожѣ мелькнула длинная, узкая полоса свѣта, мгновенно погашенная прихлопнутой дверью.

Въ первый моментъ Шаблаевъ послѣ свѣта ничего не могъ разобрать; постоялъ съ минутку, глаза привыкли къ темнотѣ, и онъ сталъ различать черную громаду насыпи, возвышавшейся за дворомъ.

Шаблаевъ обошелъ домъ, попробовалъ замокъ на воротахъ и въ лавкѣ и спустилъ съ цѣпи радостно прыгавшую на него и повизгивавшую собаку.

— Урожай будетъ, дружная весна... О-хо-хо, прости Господи.... Часа два небось.

Онъ широко зѣвнулъ, поеживаясь и пожимаясь отъ ночной свѣжести, и покрестилъ ротъ.

Сильный порывъ вѣтра донесъ съ рѣки звукъ, похожій на человѣческій вопль. Шаблаевъ чутко прислушался: попрежнему шумѣлъ вѣтерь, бурлила рѣка, билось внизу у насыпи море и жалобно звенѣла проволока.

— Попритчилось, вишь тогода-то.

И, одиноко бѣлѣя среди ночного мрака, онъ направился къ двери.

Въ промежутокъ, когда отхлынулъ и присмирѣлъ морской прибой, снова и уже явственно донеслось:

— Пропада-аю... ратуйте, добрые люди... погибаю...

Шаблаева какъ ножомъ лосняло по сердцу.

— А Вѣдь и впрямъ человѣкъ: либо тонетъ, али воры рѣжутъ.

Онъ бросился въ домъ и сталъ торопливо одѣваться.

— Мать, а мать, гони скорѣй Ванятку въ полицію: на рѣкѣ человѣкъ тонетъ, либо рѣжутъ.

— А?.. что?.. чего не спишь? — говорила женщина, приподнявшись на постели и съ усиліемъ раздирая — заспанныя глаза.

— Буди Ванятку, говорю.

Шаблаевъ досталъ изъ-подъ кровати толстую желѣзную палку и бросился изъ дому. Какъ разъ мимо двора ѣхалъ запоздалый извозчикъ. Шаблаевъ остановилъ его:

— Стой, слышишь, человѣкъ на рѣкѣ тонетъ, надо помощь дать...

Тотъ хлеснулъ лошадь и скрылся. Шаблаевъ вскарабкался по насыпи и побѣжалъ по шпаламъ, спотыкаясь и цѣпляясь за рельсы. А кругомъ стихнетъ на минуту, потомъ набѣжитъ изъ-за рѣки вѣтеръ, и опять слышно, какъ въ темнотѣ, надрываясь кричитъ и молитъ кто-то о помощи:

— Погиба-аю... отцы родные... изъ послѣднихъ силъ... мочи моей нѣтъ...

У переѣзда, неподвижно выдѣляясь темной фигурой, стоялъ сторожъ. Шаблаевъ подбѣжалъ къ нему.

— Что же стоишь, не слышить — человѣкъ тонетъ.

— Слышу, часа два ужъ онъ кричитъ, да что же я сдѣлаю.
— Почему ты не далъ знать на спасательную стан-

цію? вѣдь она тутъ же, возлѣ.

— Какая станція? не знаю я... мнѣ съ поста нельзя сходить...

Шаблаевъ бросился на станцію и сталъ стучать.

— Вставай, дѣдъ, давай лодку, да поѣдемъ спасать человѣка.

За дверями дѣдъ кряхтитъ, возится, лазаетъ, руками, никакъ крючка въ потемкахъ не найдетъ; наконецъ нашелъ, отложилъ,

— Чего надыть? Что за люди?

— Лодку давай, ѣхать надо.

— Ась? не слышу.

— Э, старый глухарь! лодку, тебѣ говорятъ, давай скорѣй, да поѣдемъ, человѣкъ тонетъ.

Дѣдъ обидѣлся.

— Чортяка его занесла! въ экую непогодь тонуть вздумалъ. Куда мнѣ ѣхать? Старый я человѣкъ, не совладаю, все одно пропадемъ, слышь, какъ рѣка бурлитъ, а темь... Подождать бы до утра. Ну, да попробую звонить, — не услышитъ ли кто, которые записались у насъ добровольцами. О, Господи Іисусе, Матерь Божія!

Вышелъ дѣдъ, пожимается отъ холода, кряхтитъ. Подошелъ къ столбу, взялся за веревку колокола и началъ дергать. И среди глухой ночи сталъ тревожно разносить вѣтеръ надъ слободкой, надъ спавшимъ городомъ безпокойные, торопливые звуки набата. Только трудно было ожидать, чтобы услышалъ кто; былъ второй часъ ночи, всѣ крѣпко спали. Изъ-за звука ли

колокола не стало слышно, ослабѣлъ ли человѣкъ или утонулъ, только съ рѣки ничего не доносилось уже, кромѣ шума вѣтра да плеска волнъ.

— Ну, такъ я самъ поѣду, — съ сердцемъ проговорилъ Шаблаевъ, — нельзя же христіанской душѣ дать пропасть.

Онъ спустился къ рѣкѣ, отвязалъ лодку, ухватился за весла и сталъ грести. Теченіе моментально подхватило лодку, неясныя очертанія берега, темный силуэтъ отъ станціи пропали. Кругомъ была непроглядная темь да смутно мелькавшая мимо бортовъ темная водная поверхность. Водовороты, крутясь воронкой, съ угрожающимъ бульбуканьемъ проходили подъ лодкой, поворачивая ее во всѣ стороны и стараясь втягнуть въ пучину. Переполненныя весенними водами рѣка рвалась, какъ бѣшеная, между тѣснившими ее берегами.

Дѣдъ нѣкоторое время продолжалъ дергать веревку отъ колокола, потомъ подвязалъ ее къ столбу, постоялъ немного, послушалъ, какъ шумитъ вѣтеръ и вода, почесалъ спину, зѣвнулъ, перекрестилъ ротъ и пошелъ въ свою коморку:

— О-хо-хо-хо!.. помилуй насъ грѣшныхъ, Господи, Мать Пресвятая Богородица. Ишь ты въ какую непогодь да темь искать его. Не могли подождать до утра. Гдѣ его теперя сыщешь? Ну, да надо думать, теперича онъ потонулъ. Да и этотъ тоже потонетъ. О-о-хо-хо... Господи помилуй!..

Черезъ минуту въ коморкѣ сталъ раздаваться мѣрный храпъ дѣда.

II.

На берегу не было ни одного живого существа. А на серединѣ рѣки, среди волнъ, среди вѣтра и непро-

глядной ночной тьмы бился Шаблаевъ. Онъ былъ совершенно одинъ, отрѣзанный ото всего міра. Куда ѣхать? Ни звука, ни огонька, никакой примѣты, непроглядная густая тьма сверху, съ боковъ, со всѣхъ сторонъ шла вмѣстѣ съ лодкой, и слышно лишь было, какъ торопливо плескались волны въ борта. Ледоходъ на рѣкѣ кончился, но еще проносились ледяныя глыбы, и порою ихъ бѣлесоватыя очертанія смутно выступали въ темнотѣ, и въ слѣдующее же мгновеніе исчезали во мракѣ, уносимыя теченіемъ. Если одна изъ такихъ глыбъ ударитъ въ лодочку, она сейчасъ же пойдетъ ко дну. Съ берега никто не подастъ помощи, да и пока соберется народъ — все будетъ кончено.

«Ворочусь ли, нѣтъ ли теперь домой, — думаетъ Шаблаевъ, — и человѣка не спасу, и самъ погибну. Если певернуть къ берегу, успѣю еще прибиться».

Но гдѣ берегъ? откуда и куда идетъ теченіе? куда надо держать? Тьма все перепутываетъ, все уравниваетъ: нѣтъ ни лѣвой, ни правой стороны, кругомъ одинъ и тотъ же однообразно-непроницаемый мракъ. Шаблаевъ понялъ, что кружится въ темноть на одномъ мѣстѣ и несетъ его быстрое теченіе къ морю, а тамъ вѣрная гибель. Онъ уже теперь не думалъ о томъ человѣкѣ, для котораго выѣхалъ, и отчаянно работалъ веслами наугадъ, только бы выбраться изъ этой пучины.

Вдругъ надъ рѣкой среди ночной мглы пронеслось:
— Ратуйте, добрые люди!..

Шаблаевъ изо всѣхъ силъ налегъ на весла. Теперь ему одно спасеніе — этотъ крикъ; тамъ берегъ. Онъ повернулъ лодку въ ту сторону, откуда донесся крикъ и сталъ грести. На рукахъ вздулись пузыри, взмокшая рубаха прилипла къ тѣлу, въ вискахъ стучало отъ чрезмѣрнаго физическаго напряженія, а лодка,

какъ свинцовая, не разберешь — подвигается ли она хоть чуточку впередъ, или сноситъ ее внизъ теченіемъ. И кажется Шаблаеву, что онъ тутъ уже цѣлую ночь бьется съ нечеловѣческимъ напряженіемъ, а крики о помощи все также доносятся издали. Ни на минуту нельзя передохнуть — сейчасъ подхватитъ бѣшенное теченіе.

Сталъ онъ приходить въ отчаяніе.

— Господи, неужели я отсюда никогда не выберусь!..

И когда онъ уже меньше всего ожидалъ, — слышитъ впереди въ темнотѣ разговариваютъ.

«Много ихъ, думаетъ Шаблаевъ, — подъѣдешь, кинутся сразу, опрокинутъ лодку».

Онъ попридержалъ лодку и крикнулъ:

— Много-ль васъ?

— Двое: я да... собака.

Шаблаевъ сталъ опять грести, потомъ схватилъ приготовленную веревку и кинулъ по тому направленію, гдѣ виднѣлся темный силуэтъ. Должно быть, тамъ ухватились, такъ какъ веревка натянулась. Шаблаевъ сталъ подтягиваться, но вдругъ веревка ослабѣла, скользнула въ воду, и лодку понесло на низъ, а изъ темноты послышалось:

— Закостенѣлъ я, не слушаются руки, не могу удержать веревку.

Схватился опять за весла Шаблаевъ, подъѣхалъ и бросилъ веревку. Она упала на льдину и зацѣпилась

за уголъ. Шаблаевъ подтянулъ вплотную, — смутно видитъ, въ темнотѣ стоитъ на «крыгѣ»человѣкъ, трясется, стучитъ зубами, бѣжитъ съ него вода, а на рукахъ держитъ собачонку.

Шаблаевъ взялъ собачонку, потомъ втащилъ человѣка въ лодку, оттолкнулся, подхватило ихъ теченіе, завертѣло, пропали льдины, и опять кругомъ только непроглядная темь да все та же смутно колеблющаясь, бѣгущая мимо темная поверхность воды. Куда теперь ѣхали, гдѣ были берега и въ какую сторону шло теченіе — никто не зналъ. Мирный и грозный шумъ, то выроставшій, то падавшій становился явственнѣе. Это было море. По сторонамъ отъ лодки попрежнему выступали и исчезали въ темнотѣ проносившія ся льдины.

Когда сюда ѣхалъ Шаблаевъ, онъ держалъ путь на голосъ, теперь же, кромѣ шума теченія, ничего не было слышно. Работаетъ онъ веслами наудачу, озирается и вдругъ видитъ во мглѣ, какъ звѣздочка, загорѣлся огонекъ. Видно, — это извозчикъ подъѣхалъ къ берегу, либо догадались фонарь выставить. Шаблаевъ поворотилъ туда лодку и сталъ грести. Огонекъ понемногу сталъ дѣлаться ярче, и вправо все отходитъ: сноситъ теченіемъ лодку.

Страхъ совсѣмъ прошелъ у Шаблаева. Серебряная медаль «за спасеніе», похвалы, удивленіе его подвигу, то, что о немъ будетъ говорить теперь весь городъ, и вмѣстѣ жалость къ этому дрожавшему и непопадавшему зубъ на зубъ человѣку, съ лохмотьевъ котораго бѣжала холодная вода, странно путаясь, мѣшались съ впечатлѣніями темной ночи, плескомъ руки, шумомъ вѣтра и отдаленнымъ прибоемъ моря.

— Да ты какъ врюхался-то?

— Я-то, — послышался въ темнотѣ гнусавый голосъ, — думалъ переѣздъ тутъ у васъ. Иду, значитъ, по берегу, ни парома, ни лодки. Ледъ хруститъ подъ ногами. Собачонка впереди бѣжитъ, темь такая, хоть глазъ выколи, не разберешь — не то ледъ на берегу лежитъ, не то на водѣ, да вдругъ провалился и съ головой окунулся въ воду. Барахтаясь, цѣпляюсь за ледъ, а онъ расходится подъ руками, мелочь набило къ берегу. Оцѣпился за крыгу, вылѣзъ, а она закачалась и отошла отъ берега. Испугался, вотъ унесетъ, думаю, теченіемъ, опять въ воду, да никакъ не пробьюсь, мелкій ледъ кругомъ, закоченѣлъ весь, вижу тону, опять кое-какъ уцѣпился за толстую крыгу, насилу вылѣзъ, и собачонка выпрыгнула. Колышется проклятая крыга подъ ногами, вода на нее забѣгаетъ, отдѣлилась отъ берега, и поплыла по теченію къ морю. Пропалъ!... думаю: сталъ Богу молиться. Но крыга зацѣпилась, покачалась и стала. Сталъ я кричать, кричалъ, голосъ порвалъ; никто не подаетъ помощи, и кругомъ темь, хочь глаза коли. Проходитъ часъ, другой, сталъ я костенѣть. Ежели, думаю, останусь на крыгѣ, не доживу до утра, а въ воду прыгну, сейчасъ же, какъ ключъ, пойду ко дну. И легъ на ледъ. Сначала было холодно, а потомъ сталъ сонъ клонить. Тутъ бы и смерть, да собачонкѣ, видно, не хотѣлось помирать: прыгаетъ, визжитъ, лижетъ лицо, а то вдругъ зачнетъ выть, да такъ, ажъ за сердце хватаетъ, не даетъ покою. Поднялся, взялъ собачонку на руки и сталъ опять кричать. Обезсилю, потеряю голосъ, замолчу, а потомъ опять. Послѣдній разъ думалъ: ну, покричу еще, не подадутъ помощи, — слѣзу въ воду.

Шаблаевъ снялъ съ себя кафтанъ и кинулъ незнакомцу.

— Вотъ спасибо, а то нутро трусится.

— Да ты изъ какихъ будешь?

Въ темнотѣ помолчали. потомъ опять послышался сиплый голосъ:

— Не здѣшній.

Нѣкоторое время весла мѣрно падали въ воду.

— Въ работникахъ живешь, или какъ?

— Нѣ-ѣтъ, по заводамъ больше работалъ.

Опять помолчали.

— Былъ конь, да изъѣздился, былъ работникъ, да износился. Теперь иду въ свою деревню, дохтора сказываютъ, у меня въ грудѣ половина нутра сопрѣла, да брешутъ... Жена у меня тамъ, мы ужъ года четыре какъ врозь живемъ.

— Что такъ, или баба плохая?

— Баба, какъ баба. Ну, конечно, гладкая, ядренная. Баба, братецъ ты мой, такая, что поискать, смѣлая, да веселая, палецъ въ ротъ не клади, живо оттяпаетъ. Ну, и красивая.

Сидившій съ собакой человѣкъ, видимо, захваченный воспоминаніями, вдругъ выругался скверно и цинично:

— Тамъ ужъ, братъ, и баба же!

Богобоязненнаго Шаблаева покоробило.

— А ты въ темь, да на водѣ не ругайся.

Слова замолчали и лишь слышались всплески падающихъ веселъ, да вѣтеръ попрежнему бѣжалъ надъ рѣкой.

— Четыре года не видались, — опять заговорилъ незнакомецъ, — приду, прямо заявлю: Ѳекла, будя, набаловалась, и будя. Чего тамъ... Теперя съ штейгеромъ живетъ, — добавилъ онъ помолчавъ.

Въ носу лодки шумѣли и пѣнились волны, и раза два невидимо проносившіяся льдины стукнули въ борта.

— Два года за нее сватался, вострая дѣвка была: пойду, говоритъ, за тебя, коли ежели пить и бить не будешь, да въ бѣдности, говоритъ, жить не хочу. Ну, поженились, въ деревнѣ какая жисть: бѣдность, грязь. Ушелъ я отъ отца, поселился на заводѣ. Хорошо зарабатывалъ,—два, два съ полтиной въ день. И весело жили съ Ѳеклой, времячко было! Она, бывало, красивая, да веселая, гости, музыка, э-эхъ!..

— Ну, и дожились,—иронически проговорилъ Шаблаевъ, начинавшій чувствовать какое-то глухое недоброжелательство къ своему собесѣднику.

— Всего съ годъ такъ прожили,—продолжалъ тотъ, не замѣчая тона Шаблаева, — потомъ на заводѣ штаты сократили, заказъ большой сдѣлали, сдали, ну, конечно, лишнихъ рабочихъ и отпустили. Я подъ увольненіе попалъ, остались съ Ѳеклой мы ни съ чѣмъ. Денегъ ни гроша. На заводѣ какъ: сколько ни получишь, мало ли, много ли, все проживешь, жизнь, значитъ, такая. Кинулся я туда, сюда, нѣтъ мѣстовъ, вездѣ биткомъ. Трудно было, одежу всю проѣли, прежде я съ форцемъ ходилъ, а то обносился, чисто босякъ; Ѳекла обтрепалась, то гладкая была, а то высохла, худая, да злая стала. Одежду проѣли всю. Тутъ промежъ насъ свара пошла. Что жъ

ты, говоритъ, за мужъ такой, жену не можешь содержать, на кой лядъ ты мнѣ здался, мужчину я, говоритъ, завсегда себѣ найду. Побилъ я ее, напился со злости. Поступили мы тутъ на табачную фабрику, ну, тоже долго не продержались, потому, какъ подошла зима, привалило народу, плату сбавили, могуты не стало, впроголодь живешь въ подвалѣ. Стали заявлять въ конторѣ, чтобъ прибавку дали, насъ и прогнали совсѣмъ. Много, говорятъ, васъ теперь шляется, и дешевле пойдутъ работать. Тянулось такъ года два: найдешь работу, на заводъ,, на фабрику поступишь, станешь оправляться, одежду заведешь, по людски мало-мало станешь жить, когда и чайкомъ, и водочкой въ трактирѣ побалуешься, пройдетъ мѣсяцевъ пять, шесть, глядь, анъ ты и безъ мѣста, либо производство сократили, лишнихъ рабочихъ уволили, или со старшимъ зацѣпка выйдетъ, ну и зачинаешь проѣдать одежу, опять сказка про бѣлаго бычка начинается снаизнова. Нашъ братъ, какъ на краю лежитъ: чуть тебя пихнетъ, и покатился, карабкайся сызнова.

— Ты для легкости, видно, и пропилъ все, босячкомъ сталъ.

— Жена меня бросила, — продолжалъ незнакомецъ, попрежнему не замѣчая ироніи въ репликѣ Шаблаева. — Бросила, я, говоритъ, молодая и жить хочу въ свое удовольствіе, а ты шалга, куда хочешь. Тутъ ужъ я ее хорошо побилъ: два зуба выбилъ, ухо оборвалъ, ребро подшибъ. А въ концѣ концовъ она живетъ теперь со штейгеромъ. Я и закурилъ тогда: все пропилъ. Мѣсяцъ цѣлый въ голомъ видѣ въ босяки сидѣлъ, мастерская столярная недалеко была, такъ въ стружкахъ спалъ. Потомъ въ Питеръ попалъ, тамъ всего навидался.

— И тюрьмы небось нюхалъ? Дай-ка сюда кафтанъ.

— Всего бывало. Ну только намучился. Пить даже бросилъ, выпью, все назадъ. Не могу, не принимаетъ. Теперя иду домой въ деревню, недалече тамъ шахты, такъ на шахтахъ жена со штейгеромъ живетъ. Скажу: Ѳекла, будетъ, брось, побаловалась и будетъ. Возьмемся за работу, отецъ помощь дастъ, опять на ноги станемъ. Въ боку все юлитъ: въ больницѣ сказывали половина нутра отгнило, дескать. Врутъ. Только бы одно: полиція не взяла бы. Такого особеннаго за мной ничего не числится, ну только по бумагѣ я долженъ идти въ Маріуполь, а я вотъ въ деревню. Защемило сердце. Не могу, т. е., вотъ хоть умереть, а Ѳеклу хочется повидать, сказать ей, что весь сурьезъ поменщу насъ кончился, а потомъ въ городъ айда, пропишусь, и, значитъ, заживемъ съ женой, какъ съ первоначалу. По волчьему билету вѣдь я. Шаблаевъ на секунду задержалъ въ воздухѣ весла.

— Какъ говоришь, по волчьему?

— По волчьему билету.

Шаблаевъ съ силой зашумѣлъ веслами о воду и сильно двинулъ лодку впередъ.

Опасности, которыя ему угрожали со всѣхъ сторонъ во тьмѣ, теперь казались нелѣпыми, безсмысленными, точно онъ сдѣлалъ какую то грубую ошибку, сдѣлалъ не то, что слѣдовало.

Онъ почувствовалъ усталость. Руки съ усиліемъ откидывали весла, поясницу ломило. Въ головѣ безпорядочно проносились картины его лавки, дома, толстыя двери, крѣпкіе запоры, глухія ставни и то чуткое ощущеніе напряженности, съ какимъ онъ всегда прислушивался по ночамъ, карауля свое добро домовитаго хозяина.

Собачонка спрыгнула съ рукъ незнакомца на

дно лодки и взвизгнула. Тотъ нагнулся и взялъ ее опять на руки.

— Тише, чортъ, лодку качаешь.... такъ и двигну весломъ!..... .

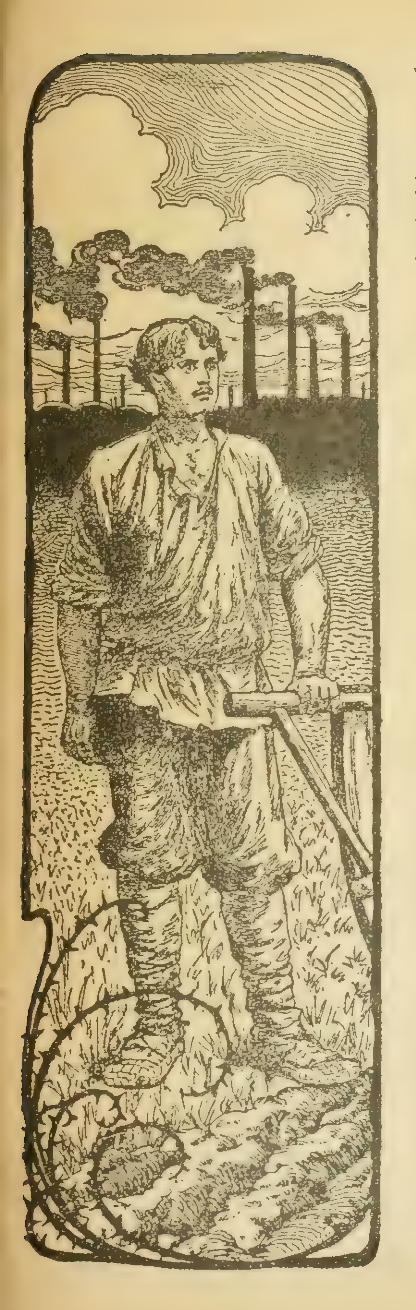
Передъ носомъ лодки изъ темноты неясно выступилъ берегъ. На берегу смутно виднѣлись темные силуэты людей, извозчичьей пролетки и лошади. Свѣтъ фонаря съ передка пролетки падалъ узкой полосой на темную воду и дробился въ набѣгавшихъ волнахъ. Съ моря все также грозно и мѣрно доносился шумъ прибоя.

Лодка мягко вошла въ песокъ. Къ ней подошелъ извозчикъ и два полицейскихъ съ бляхами.

Шаблаевъ не спѣша сложилъ весла и выбрался на берегъ. Выбрался за нимъ и незнакомецъ. Онъ сталъ благодарить все тѣмъ же сиповатымъ голосомъ за свое спасеніе, потомъ сдѣлалъ движеніе уйти.

— Погоди,—проговорилъ Шаблаевъ, положивъ ему руку на плечо; и потомъ, обернувшись къ полицейскимъ, проговорилъ:

— Берите его—безпаспортный!



СОЦІАЛИСТИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА

Литературно-художественный Отдѣлъ.

АРТУРЪ АРНУ.

МЕРТВЕЦЫ КОММУНЫ

ЦѢНА 10 СЕНТОВЪ.

Рабочее Книгоиздательство
1912 г.

МЕРТВЕЦЫ КОММУНЫ.

Шапки долой! Я буду говорить о мучениках коммуны.

Сколько было ихъ? — Никому не перечесть!

Спросите объ этомъ парижскую мостовую, митральезы казармъ Лабо, Люксембургскій садъ, Шамонскія высоты, Шатле, окровавленныя плиты гробницъ Перъ-Лашеза, зеленѣющіе скверы, превращенные въ кладбища, гдѣ изъ-подъ свѣжей земли только что засыпанныхъ могилъ слышалось по ночамъ предсмертное хрипѣніе.

Кровь текла ручьями. Воды Сены покраснѣли. Трупы перебитыхъ лежали по улицамъ на протяженіи многихъ тысячъ квадратныхъ метровъ слоевъ въ нѣсколько тѣлъ. Колеса версальскихъ пушекъ до самыхъ ступицъ были облѣплены, какъ грязью, запекшейся кровью и кусками человѣческаго мозга. Въ теченіи пятнадцати дней рѣзали безъ суда. Парижъ превратился въ громадную бойню.

Когда все кончилось, великій городъ не досчитывался ста тысячъ рабочихъ, — убитыхъ, взятыхъ въ плѣнъ, бѣжавшихъ. Отъ

нѣкоторыхъ цеховъ не осталось ни одного человѣка, — это свидѣтельствуетъ самъ муниципальный совѣтъ въ одномъ оффиціальномъ отчетѣ.

Да, это былъ поистинѣ пиръ для Французской буржуазіи. Наши великіе генералы до сихъ поръ облизываются при одномъ воспоминаніи о немъ.

Тьеръ — этотъ отвратительный карла — сталъ словно молодымъ юношей, выкупавшись въ этой ваннѣ изъ народной крови.

Ничего не пожалѣли для этой оргіи капиталистовъ. Пиръ шелъ, поистинѣ, горой. Разстрѣливали женщинъ, и молодыхъ и старыхъ, матерей съ дѣтьми, дѣтей безъ матерей, матерей безъ дѣтей, и — что было еще пріятнѣе, — разстрѣливали безоруженыхъ — стариковъ, больныхъ, умирающихъ. Въ госпиталяхъ ампутированныхъ подхватывали на штыки и выбрасывали за окна въ кровавые ручьи, какъ щенятъ, которые пищатъ и воютъ.

Да, это было великолѣпно!

Записные журналисты и пышныя богини наслажденій бѣгали нюхать трупы. Красавицы втыкали, случалось, кончики своихъ зонтиковъ въ зіяющія раны еще живыхъ

людей.

Жюль Фавръ, этотъ поддѣлыватель фальшивыхъ бумагъ, весь избрызганный кровью Мильера, изумлялъ міръ зрѣлищемъ своего бѣшеннаго умопомѣшательства. Монархическая Европа, отказавшая ему въ выдачѣ бѣжавшихъ, должна была стыдить его!

Маркизъ Галифэ рѣзалъ, потому что онъ былъ подлъ. — „Насталъ на моей улицѣ праздникъ!" говорилъ онъ. Ему казалось, безъ сомнѣнія, что разбой мужа заставитъ простить проституцію жены, соперницы Евгеніи, экс-императрицы.

Винуа, Сизи, Макъ-Магоны и прочіе генералы имперіи возвращали безоружному народу — въ видѣ ружейныхъ залповъ — пинки, полученные отъ побѣдоносной Пруссіи въ задъ, которая, не видя ихъ иначе, какъ сзади, не могла ударить ихъ въ другое мѣсто.

Александръ Дюма — сынъ, пѣвецъ куртизанокъ, защитникъ религій, собственности и буржуазной семьи, покоющейся на прелюбодѣяніи и домѣ терпимости, объявлялъ, что самка коммунара похожа на женщину только, когда зарѣзана".

Вриньо, главный редакторъ „Обществен-

наго Блага" и любимый другъ Тьера, хвастался, что онъ собственноручно убилъ тридцать федералистовъ — изъ числа плѣнныхъ, закованныхъ въ цѣпи или раненыхъ, само собою разумѣется.

Національное Собраніе, точно горя нетерпѣніемъ вымазать себя всей этой кровью, декретировало благодарственный адресъ версальской арміи и провозгласило **единогласно**, при воздержаніи только **одного** члена, что палачи народа — „спасители отечества".

„Парижскій журналъ" 5-го іюля 1871 года печаталъ слѣдующій діалогъ:

— „Что вамъ хочется смотрѣть, дѣти, говоритъ мать своимъ дочерямъ, — развалины или трупы?

— О, и то и другое, маменька, и то и другое!

— Ну, такъ вотъ что мы сдѣлаемъ: мы поѣдемъ сначала смотрѣть на мертвыхъ.. только ужъ позавтракать придется какъ попало.

— Ничего, маменька: мы возьмемъ съ собой по кусочку хлѣба!

— Хорошо. И если я не слишкомъ устану, мы поѣдемъ смотрѣть на пожары вмѣсто дессерта.

..И дѣвочки захлопали въ ладоши".

Какой прелестный портретъ буржуазіи, написанный ею самою!

О, дѣвочки! Эти трупы, на которые вы идете смотрѣть, хлопая въ ладоши, это — трупы народа, того народа, трудъ котораго создаетъ вашу роскошь и котораго перерѣзали за то, что онъ не захотѣлъ болѣе терпѣть, чтобы его собственнымъ дочерямъ приходилось выбирать между голодомъ, самоубійствомъ и проституціей.

⁂

Цѣлый народъ сидѣлъ запертый въ стѣнахъ своего города. Нигдѣ ему не было выхода, потому что арміи союзниковъ — версальцевъ и пруссаковъ — сторожили всѣ ворота.

И вотъ этому народу остервенѣвшая реакція кричитъ:

— Что бы ты ни дѣлалъ, ты погибъ! Если тебя возьмутъ съ оружіемъ въ рукахъ, тебя ждетъ одно — смерть! Если ты положишь оружіе — смерть! Если ты станешь молить о пощадѣ — смерть! Куда бы ты ни повернулся, куда бы ты ни кинулъ взглядъ — направо, налѣво, впередъ, назадъ, вверхъ, внизъ — смерть! Ты не только внѣ

закона, ты —,внѣ человѣчества. Ни возрастъ, ни полъ не спасутъ ни тебя, ни твоихъ. Тебя убьютъ. Но прежде ты насладишься зрѣлищемъ предсмертныхъ мукъ твоей жены, сестры, матери, дочерей, сыновей — въ томъ числѣ и грудныхъ.

Смерть! Смерть! Смерть!

Вчера ласкали пруссака: плѣннаго его кормили, оказывая ему всевозможное вниманіе; раненаго его лѣчили съ нѣжной заботливостью. И такъ слѣдовало поступать, это былъ человѣкъ, — хотя въ данную минуту онъ представлялъ собою лишь грубую силу на служеніи династической ненависти и честолюбія. Шапки долой передъ этимъ врагомъ, — свирѣпымъ бульдогомъ, науськиваемымъ Бисмаркомъ! Жюль Фавръ пойдетъ плакать у ногъ этого великаго человѣка, Трошю и Тьеръ счастливы, если имъ удастся послѣ битвы пожать его руку, —руку, раздавившую революцію во Франціи. Но ты, гражданинъ Франціи, поднявшійся для защиты права и справедливости, ты, вчера еще защищавшій Парижъ отъ завоевательной войны, когда Вильгельмъ подбиралъ императорскую корону, уроненную Бонапартомъ въ грязь Седана, — ты, желающій устано-

вить братство народовъ и солидарность всего міра, ты, мечтавшій о счастіи Франціи и всего человѣчества, ты, думающій основать величіе своей родины на началахъ, которыя обезпечили бы счастье вселенной, ты — отверженецъ, ты — омерзитель!

Для тебя нѣтъ справедливости.

Рука твоя внушаетъ гадливость, и если бы ты протянулъ ее съ мольбой о состраданіи, ее отрубили бы, плюнувъ тебѣ въ лицо.

Смерть тебѣ, бунтовщикъ! Смерть тебѣ, соціалистъ! Смерть тебѣ, коммунаръ! Смерть тебѣ, твоей самкѣ и твоимъ дѣтенышамъ!

Смерть! Смерть! Смерть!

***

Но что же это были за люди, которыхъ краснокожіе правящихъ классовъ привязывали къ позорному столбу при такихъ неистовыхъ крикахъ радости? Что это были за люди, которыхъ буржуазія, точно въ бѣшенномъ веселья дикарей-людоѣдовъ, избивала съ такимъ остервенѣніемъ, передъ которымъ меркли всѣ, доселѣ извѣстныя, великія рѣзни?

Нѣсколько именъ плывутъ на поверхности этихъ волнъ крови, которыя гонитъ буря реакціонныхъ страстей, эгоистическихъ

инстинктовъ и мстительной трусости.

Присмотримся къ этимъ людямъ, потому что по нимъ можно будетъ судить объ остальныхъ, о той великой безъимянной массѣ, которая на запросъ исторіи отвѣтитъ:

„Имя мнѣ — народъ!"

Вотъ вамъ прежде всего!

ДЕЛЕКЛЮЗЪ.

Старикъ съ бѣлой головой, худой, съ энергичными чертами лица и гордымъ взглядомъ, образецъ честности и безкорыстія, якобинецъ, точно вылитый по модели бронзовыхъ фигуръ людей Конвента, которыхъ онъ былъ последнимъ, и не наименѣе прекраснымъ представителемъ въ наши дни.

Вся жизнь его была одной непрерывной борьбой за то, что онъ считалъ правомъ, справедливостью, истиной.

Ни пораженія, ни преслѣдованія — во время имперіи онъ былъ сосланъ въ Кайенну — ни страданія, физическія и нравственныя, ни годы, — ничто не могло ослабить его вѣры и безграничной преданности.

Чтобы лучше служить Революціи, онъ отказался отъ семейной жизни, никогда не

женился и жилъ вмѣстѣ со своей матерью и сестрой.

Никогда не зналъ онъ ни сомнѣнія, ни изнеможенія, ни даже усталости. Онъ жилъ и умеръ безъ страха и упрека.

Но особенно прекрасенъ былъ его конецъ. Посланный сперва депутатомъ въ Бордо, онъ былъ выбранъ затѣмъ въ Коммуну и явился, не колеблясь, туда, куда призывалъ его народъ.

А между тѣмъ, онъ принадлежалъ къ поколѣнію, проникнутому насквозь идеями единства, правительственной диктатуры, исполненному вѣры въ государство и мало знакомому съ вопросами соціальными. Очень скоро онъ долженъ былъ замѣтить, что дѣло, которому онъ отдавалъ свою жизнь — дѣло Коммуны — шло вразрѣзъ съ нѣкоторыми изъ наиболѣе дорогихъ его убѣжденій.

Но Делеклюзъ выше своихъ убѣжденій ставилъ Революцію. Въ этомъ желѣзномъ человѣкѣ не было ни малѣйшей черты доктринера. Это былъ фанатикъ, а не догматикъ. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ, которые укладываютъ Революцію въ одну форму и восклицаютъ: „Внѣ моей

церкви нѣтъ спасенія"!

Вотъ почему, хотя онъ и не раздѣлялъ вначалѣ всѣхъ стремленій борцовъ Коммуны, хотя нѣкоторыя изъ этихъ стремленій или прямо противорѣчили тѣмъ политическимъ вѣрованіямъ, которымъ была посвящена вся его жизнь, или же обнаруживая новыя стороны вопросовъ, поселяли сомнѣніе и смущеніе въ его головѣ, привыкшей къ совершенно иного рода представленіямъ, — тѣмъ не менѣе нужно воздать ему справедливость: онъ рано понялъ программу Коммуны, онъ согласился съ нею и принялъ всѣ ея выводы во всей ихъ силѣ.

Его органическія, такъ сказать, симпатіи не влекли его къ Коммунѣ, но тамъ былъ народъ, тамъ была его воля.

И Делеклюзъ, съ твердостью стоика, преклонился предъ нею.

Рядомъ съ Делеклюзомъ стоитъ столь-же великій, хотя совершенно противоположный ему,

Варленъ.

сынъ народа и дитя собственныхъ думъ.

Онъ родился въ 1839 году отъ бѣдныхъ

крестьянъ департамента Сены и Марны. На тринадцатомъ году онъ пришелъ въ Парижъ и поступилъ къ одному переплетчику.

Въ то время онъ не умѣлъ ни читать, ни писать. Но у него хватало энергіи самому образовывать себя, урывая время отъ тѣхъ немногихъ часовъ отдыха, которые оставляла ему работа въ мастерской.

Делеклюзъ, человѣкъ происхожденія буржуазнаго, воспитанія якобинскаго, представлялъ собою типъ революціонера стараго закала, перешедшаго въ соціализмъ, благодаря одной искренней своей преданности дѣлу народа, дѣлу справедливости.

Варленъ, напротивъ того — воплощеніе Революціи новаго времени. Онъ весь принадлежитъ соціализму воинствующему, и въ ряду представителей послѣдняго образъ его всегда останется однимъ изъ самыхъ свѣтлыхъ, самыхъ благородныхъ, самыхъ трогательныхъ.

Онъ началъ свою революціонную работу, какъ главный дѣятель общества сопротивленія рабочихъ переплетнаго мастерства. Затѣмъ онъ былъ основателемъ первыхъ соціалистическихъ кухмистерскихъ въ Парижѣ.

Наконецъ, сдѣлался однимъ изъ первыхъ членовъ, неутомимѣйшихъ агитаторовъ и распространителей Интернаціонала во Франціи.

И теперь помнятъ его гордое и смѣлое поведеніе передъ трибуналомъ имперіи, когда Наполеонъ III, убѣдившись, что ему не удастся ни обольстить,ни положить Интернаціоналъ, задумалъ бороться съ нимъ, чтобы уничтожить его.

Въ редакціи "Марсельезы,, познакомился я въ первый разъ съ Варленомъ.

Никогда не забыть мнѣ этой молодой, прекрасной головы, покрытой уже сѣдыми волосами, этого глубокаго взгляда черныхъ глазъ, этого задушевнаго и ровнаго голоса и исполненнаго достоинства обращенія.

Онъ говорилъ мало, не выходилъ изъ себя никогда. Въ немъ соединялось великодушіе героя и меланхолія мыслителя. ,,

Роль Варлена въ Коммунѣ извѣстна.

Онъ говорилъ въ ней мало, а дѣлалъ много. занимался онъ въ ней, преимущественно. администраціей финансовъ вмѣстѣ съ Журдономъ, но впослѣдствіи перешелъ въ интенданство, гдѣ могъ приложить во всемъ ихъ размѣрѣ свои громадныя организаторскія способности.

Когда въ Парижъ вошли Версальцы, онъ геройски сражался до послѣдней крайности и подъ конецъ былъ взятъ въ плѣнъ побѣдителями Коммуны.

Со связанными назадъ руками, осыпаемый ударами и бранью толпы подлецовъ, бѣсновавшихся вокругъ него, покрытый плевками, грязью и кровью, онъ былъ водимъ ими по улицамъ Монмарта въ теченіе двухъ съ лишнимъ часовъ, чтобы продолжить съ утонченнымъ звѣрствомъ его предсмертную агонію.

Но и эта долгая пытка не могла поколебать его могучую натуру.

Блѣдный и спокойный, безъ словъ, безъ движенія нетерпѣнія, гнѣва или слабости, онъ обводилъ палачей своихъ глубокимъ взглядомъ.

Наконецъ, пули прекратили его мученія.

Онъ былъ такъ великъ въ своемъ безстрашіи, что даже его враги и палачи не могли не отдать ему справедливости.

Вотъ разсказъ объ его смерти, взятый цѣликомъ изъ одного реакціоннаго журнала того времени.

"Варленъ, арестованный на улицѣ Лафайэтъ, былъ поведенъ къ Монмартру.

„Толпа росла все болѣе и болѣе, такъ что съ большимъ трудомъ удалось достичь подошвы Монмарскихъ высотъ. Здѣсь плѣнникъ былъ приведенъ къ какому-то генералу, имя котораго ускользнуло изъ моей памяти. Дежурный офицеръ подошелъ къ нему, что-то шепнулъ ему, и тотъ проговорилъ въ отвѣтъ: „тамъ за этой стѣной".

„Кромѣ этихъ четырехъ словъ я ничего не могъ разслышать, и, хотя въ смыслѣ ихъ нельзя было сомнѣваться, мнѣ все-таки хотѣлось видѣть до конца послѣдній актъ жизни одного изъ творцовъ этой ужасной драмы... Но мнѣніе общества рѣшило иначе!"

„Когда осужденный былъ приведенъ на указанное мѣсто, чей-то голосъ, тотчасъ же подхваченный другими, сталъ кричать изъ толпы: Слишкомъ рано! нужно еще поводить его!"

„Печальная процессія двинулась снова. Прошли на улицу Розье, но главный штабъ, помѣщавшійся на этой улицѣ, воспротивился казни"

„Пришлось снова вернуться къ Монмарту въ сопровожденіи всей этой толпы, увеличивавшейся притомъ на каждомъ шагу".

„Картина дѣлалась все болѣе и болѣе

злѣвшей. Человѣкъ этотъ, хотя зналъ съ самаго начала объ ожидавшей его участи шелъ такой смѣлой и твердой поступью, что, несмотря на всѣ преступленія, которыя онъ могъ совершить, зритель невольно начиналъ самъ страдать при видѣ долгой агоніи".

„Но вотъ, наконецъ, осужденный прибылъ на мѣсто казни. Его приставляютъ къ стѣнѣ; но пока офицеръ выстраиваетъ солдатъ, горя сь скомандовать залпъ, одинъ изъ солдатъ конечно, вслѣдствіе недостаточнаго искусства въ ружейныхъ пріемахъ, спустилъ курокъ. Но ружье дало осѣчку. Въ ту же минуту раздался залпъ, и Варленъ упалъ".

„Тотчасъ солдаты, опасаясь, что онъ еще не умеръ, кинулись прикончить его ударами прикладовъ. Офицеръ сказалъ имъ: „Видите: онъ умеръ, оставьте!"

Таковъ разсказъ врага, одного изъ тѣхъ дикихъ звѣрей, которые яростно кинулись на побѣжденный народъ и бѣгали на казни, какъ нкакъ на праздники.

Этотъ разсказъ, хотя и умышленно смягченный, говоритъ о подлой свирѣпости палачей и о героизмѣ жертвы болѣе, чѣмъ могли бы сказать цѣлые томы.

Это картина — живая, забыть которую

невозможно.

Таковъ былъ конецъ Варлена увѣнчавшаго мученичествомъ жизнь, цѣликомъ посвященную на служеніе праву и правдѣ.

Я остановился такъ долго на этихъ двухъ фигурахъ потому, что онѣ вполнѣ олицетворяютъ собой двѣ стороны коммуналистическаго движенія и могутъ быть названы двумя гранями Парижской Коммуны.

Делеклюзъ, это — буржуазный якобинецъ, который, забывъ свое происхожденіе, свое воспитаніе свои инстинкты и кастовыя традиціи, становится соціалистомъ, чтобы соединиться съ народомъ, пойти вмѣстѣ съ нимъ на завоеваніе соціальной свободы.

Варленъ, это — самъ юный народъ, поднимающій голову, овладѣвающій наукой, и порывомъ геройства отождествляющійся съ Соціальной Революціей, которой онъ — вѣрный, прирожденный представитель, который онъ — тѣло и кровь.

Первый говоритъ Коммунѣ: „Ты справедливость!"

Второй возвѣщаетъ удивленному міру: „Народъ готовъ!"

Но сколько тѣснится въ памяти другихъ именъ, заслуживающихъ такого же апофеоза:

сколько другихъ фигуръ, олицетворяющихъ тотъ же глубокій и возвышенный дуализмъ, повторяющихъ тѣ же слова, доказывающихъ тѣ же истины.

Кто можетъ забыть!..

ДЮВАЛЬ И ФЛУРАНСЪ.

Одинъ изъ нихъ — простой рабочій, какъ и Варленъ, другой — сынъ одного изъ самовитыхъ ученыхъ своего времени, профессора, академика, члена института — Флурансъ.

Оба они отдали жизнь за то же дѣло; а они дали бы и побѣду если бы героизмъ, посвященный на служеніе справедливости, былъ достаточенъ, чтобы восторжествовать надъ хитрой организаціей буржуазнаго государства, этого сторукаго чудовища, стерожащаго привилегію и эксплуатацію противъ правды и справедливости.

Оба они были молоды; оба, какъ Делеклюзъ и Варленъ, засѣдали въ Коммунѣ: оба командовали отдѣльными отрядами на вылазкѣ 3 апрѣля, когда Парижъ въ единодушномъ порывѣ поставилъ на ноги свои двѣсти тысячъ человѣкъ, которыхъ Тьерь

выставлялъ передъ Франціей, какъ „горсть разбойниковъ, бѣжавшихъ съ каторги".

Густавъ Флурансъ давно уже сталъ извѣстенъ своей смѣлой борьбой съ Имперіей. Странствующій рыцарь Революціи, онъ ѣздилъ въ Кандію сражаться противъ турецкаго деспотизма за возставшій греческій народъ. По возвращеніи въ Парижъ онъ снова возобновляетъ борьбу въ „Марсельезѣ" и въ публичныхъ собраніяхъ. Во время осады, будучи командиромъ батальона, 31-го октября онъ сдѣлалъ попытку спасти Парижъ и Республику. Правительство „Народной обороны", которое онъ имѣлъ слабость пощадить посадило его въ Мазасъ, откуда онъ былъ освобожденъ народомъ 21-го января.

4-го апрѣля онъ былъ захваченъ врасплохъ въ Рюэйлѣ отрядомъ жандармовъ, окружившихъ домъ, въ которомъ онъ хотѣлъ отдохнуть на несколько минутъ. Онъ пытался защищаться, но одинъ капитанъ, по имени Демарте, разсѣкъ ему черепъ такимъ свирѣпымъ ударомъ сабли, что мозгъ брызнулъ наружу.

Трупъ его былъ брошенъ въ гробъ и отправленъ въ Версаль, гдѣ на него ходили смотрѣть свѣтскія дамы, эти „суки",

какъ называетъ ихъ поэтъ въ негодующемъ стихѣ, бѣгавшія лизать кровь раненыхъ и ковырять раны плѣнныхъ.

Дюваль — этотъ былъ интернаціоналистъ — простой литейщикъ. Всего нѣсколько дней засѣдалъ онъ въ Коммунѣ, гдѣ тотчасъ же обратилъ на себя вниманіе своей энергіей, дѣятельностью и мужествомъ, исполненнымъ хладнокровія.

Въ собраніи мнѣ приходилось сидѣть съ нимъ рядомъ. Мало видѣлъ я людей болѣе симпатичныхъ, мало встрѣчалъ тихихъ, на лицѣ которыхъ такъ ясно отражалось бы великодушіе, благородство и самоотверженость ихъ натуры.

Онъ только прошелъ по сценѣ исторіи, чтобы сражаться и умереть. Но тотъ, кто разъ видѣлъ его, никогда его не забудетъ.

Его взяли въ плѣнъ вмѣстѣ съ его отрядомъ въ шатильонскомъ плато, послѣ отчаянной обороны.

Онъ и его отрядъ окружены; зарядовъ больше нѣтъ.

— Сдавайтесь, ваша жизнь будетъ пощажена! говорятъ имъ отъ имени генерала Пелле, командовавшаго войсками.

Они сдаются.

Тотчасъ же версальцы хватаютъ солдатъ регулярной арміи, сражавшихся въ рядахъ федералистовъ, и тутъ же разстрѣливаютъ ихъ.

Впослѣдствіи маршалъ Макъ-Магонъ милуетъ такого же маршала Базена, виновнаго всего лишь въ томъ, что онъ сдалъ непріятелю Мецъ и всю армію!

Прочихъ плѣнныхъ окружаютъ двумя рядами стрѣлковъ и ведутъ въ Версаль.

По дорогѣ встрѣчается имъ Винуа, тотъ самый, который съ удовольствіемъ принялъ на себя грязное дѣло сдачи Парижа.

Онъ спрашиваетъ: „Кто тутъ начальникъ?"

— Я, — отвѣчаетъ Дювалъ, выступая впередъ.

Другой выступаетъ вслѣдъ за нимъ.

— Я — начальникъ штаба Дюваля, говоритъ онъ.

Изъ рядовъ выступаетъ третій.

— Я - начальникъ Штаба волонтеровъ, говоритъ онъ и становится рядомъ съ двумя первыми.

— Вы всѣ — сволочь паскудная! говоритъ Винуа на своемъ языкѣ кордегардіи. — Я васъ сейчасъ разстрѣляю.

Деваль и оба его товарища, не удостоивъ его даже отвѣтомъ, сами становятся къ стѣнѣ, снимаютъ шинели и съ крикомъ:

— Да здравствуетъ Коммуна! — падаютъ, пораженные пулями.

Это были первые мученики Коммуны. Версальцы только что начинали ту бойню, которая должна была окончиться истребленіемъ цѣлаго населенія.

Они были первыми и самыми счастливыми. Они умерли съ вѣрою въ побѣду: это была, вѣдь, только первая битва. Позади себя они чувствовали Парижъ, грозный и могучій.

Спите же съ миромъ, друзья, — ибо вы не ошиблись! Прійдетъ время и другіе возстанутъ, чтобы продолжать то дѣло, которому вы отдали вашу молодость и вашу жизнь! Прійдетъ день, день, когда освобожденный народъ громко назоветъ ваши имена, которыя теперь едва смѣетъ произносить шепотомъ, и тогда своимъ мощнымъ голосомъ онъ воскликнетъ:

— Честь вамъ и благодареніе, мученики часа перваго!

Рядомъ съ этими, въ славномъ Пантеонѣ мучениковъ, будетъ вырѣзано имя.

ВЕРМОРЕЛЬ.

Этотъ былъ тоже молодъ. Родился онъ въ 1841 году. Имя свое сдѣлаъ извѣстнымъ публицистикой.

Подобно Делеклюзу, подобно Флурансу, онъ покинулъ, отряхнувъ пыль отъ своихъ ногъ, лагерь буржуазіи, чтобы вложить свою руку въ руку народа, жить, сражаться, умереть съ нимъ за него.

Но Верморель воспитывался къ тому же въ іезуитской семинаріи. И онъ все преодолѣлъ, даже клерикальное воспитаніе, воспитаніе, даже ядовитое вліяніе іезуитовъ.

Основавъ газету „Французскій Курьеръ", онъ однимъ изъ первыхъ во время Имперіи поднялъ знамя соціалиста.

Клевета была ему наградой. Въ теченіе долгаго времени и въ средѣ революціонной партіи онъ считался подозрительнымъ.

Когда его выбрали въ Коммуну, онъ находился въ отсутствіи; но онъ тотчасъ же явился на зовъ. Онъ не вѣрилъ въ побѣду и не обольщался иллюзіями. Но онъ не задумывался, когда звала его честь и

опасность. Здѣсь онъ не замедлилъ сдѣлаться однимъ изъ главнѣйшихъ ораторовъ собранія и обнаружилъ дѣятельность самую неутомимую и самую разностороннюю. Онъ регулярно присутствовалъ на всѣхъ собраніяхъ въ Городской Ратушѣ, принималъ дѣятельное участіе въ работахъ своей комиссіи; когда не могъ говорить лично — писалъ; если требовалось, онъ бѣгалъ по аванпостамъ: былъ, однимъ словомъ, вездѣ и всюду, гдѣ считалъ себя способнымъ оказать какую-нибудь услугу, гдѣ находилъ нужнымъ исполнять какую-нибудь обязанность.

Когда версальцы вошли въ Парижъ, этотъ литераторъ, этотъ журналистъ, въ которомъ не было и тѣни солдата, прошлая жизнь котораго была вся—наука, вся умственная работа, этотъ человѣкъ вдругъ преобразовывается, принимаетъ участіе въ битвахъ, возитъ фургоны, разноситъ приказы, является повсюду, гдѣ опасность наибольшая, рискуя быть убитымъ двадцать разъ въ часъ.

Наконецъ, онъ падаетъ, пораженный пулей.

Его уносятъ, стараясь укрыть. Но его открываютъ и несутъ плѣнникомъ въ госпиталь, гдѣ онъ немедленно умираетъ.

Какъ мучительна должна быть эта продолжительная агонія подъ карауломъ версальскихъ тюремщиковъ, вдали отъ своихъ, безъ возбужденія боя, въ самый разгаръ этой мрачной и кровавой гибели перваго города въ мірѣ и благороднѣйшаго дѣла въ исторіи.

Нѣсколько часовъ передъ тѣмъ, какъ быть раненымъ, Верморель, привозившій снаряды въ Монмартръ, встрѣтился съ Ферре.

— Видите, Ферре, — сказалъ онъ ему, намекая на нѣкоторыя печальныя разногласія, члены меньшинства исполняютъ свой долгъ.

Члены большинства исполняютъ свой! — отвѣтилъ Ферре.

И оба эти человѣка, которые должны были такъ скоро умереть, и тотъ и другой, расходятся съ этими гордыми словами.

Но перо выпадаетъ у меня изъ рукъ, а имена такъ и толпятся въ моей памяти.

Мнѣ хотѣлось бы говорить обо всѣхъ, но я не могъ бы даже перечесть ихъ имена!

Но скажу еще объ одномъ, — о

....ФЕРРЕ....

Въ Пелажи, въ тюрьмѣ, куда насъ обоихъ бросилъ деспотизмъ Имперіи, познакомился я въ первый разъ съ Ферре.

Невозможно забыть эту блѣдную, сухую, энергичную фигуру и это лицо, пересѣченное длиннымъ, нависшимъ прямо на ротъ, носомъ, и эти черные глаза съ быстрымъ мрачнымъ взглядомъ.

Въ коммунѣ онъ рѣдко принималъ участіе въ преніяхъ. Онъ занимался полиціей вмѣстѣ съ Раулемъ Риго, котораго подъ конецъ и замѣнилъ въ качествѣ делегата при префектурѣ.

Всегда спокойный, обыкновенно молчаливый, нѣсколько холодный на видъ, этотъ человѣкъ вмѣщалъ желѣзную волю и мужество героя въ слабомъ и хрупкомъ тѣлѣ.

Это была натура экзальтированная, хотя и сосредоточенная, напоминавшая своимъ сдержаннымъ энтузіазмомъ и несокрушимой волей тѣхъ реформаторовъ XVI вѣка, которые повторяли свое исповѣданіе вѣры среди пламени костровъ.

Передъ лицомъ военнаго совѣта, приговорившаго его къ смерти, при самыхъ гру-

быхъ оскорбленіяхъ, онъ былъ величественъ своимъ холоднымъ спокойствіемъ и презрѣніемъ къ палачамъ, которыхъ побѣда перерядила въ судей.

За часъ до казни онъ написалъ къ сестрѣ письмо безъ фразъ, въ которомъ объявляетъ себя полнымъ атеистомъ и матеріалистомъ.

Въ теченіе двѣнадцати недѣль со дня произнесенія приговора онъ ждалъ смерти!

Версальцы умышленно продолжали предсмертныя муки осужденныхъ, надѣясь такой пыткой сломить эти геройскія души.

Гастонъ Кремье, изъ Марселя, былъ казненъ шесть мѣсяцевъ спустя послѣ своего приговора.

Но палачи ошиблись.

Ни одинъ изъ нихъ не измѣнилъ себѣ! Всѣ, какъ на улицахъ, такъ и у столба Сатори, какъ неизвѣстные, такъ и знаменитые, какъ въ темномъ закоулкѣ, такъ и передъ глазами исторіи, всѣ умерли безтрепетно, съ высоко поднятой головой.

У Ферре, какъ и у прочихъ была своя Галгофа.

Мать его умерла сумасшедшей съ отчаянія.

Брата его держали, какъ помѣшаннаго, въ одной изъ версальскихъ клѣтокъ.

Отецъ его былъ въ плѣну.

Сестра его, 19 лѣтъ осталась одна въ этомъ ужасномъ одиночествѣ, населенномъ призраками убитыхъ или помѣшанныхъ, между только что засыпанной могилой матери и только что вырытой, зіяющей могилой, ожидавшей ея брата.

Безмолвная, гордая, непоколебимая, достойная брата которому предстояло умереть, она работала день и ночь, чтобы жить самой и приносить каждую недѣлю двадцать франковъ осужденному.

Накопецъ, 25 ноября, въ шесть часовъ утра, Ферре повели на Сатори вмѣстѣ съ Росселемъ и Буржуа, — бѣднымъ солдатомъ, имя котораго тоже слѣдуетъ помнить.

Весь въ черномъ, съ сигарой во рту, съ лицомъ, на которомъ не шевельнулся ни одинъ мускулъ, медленнымъ и твердымъ шагомъ онъ пошелъ къ столбу, который былъ ему назначенъ, всталъ и взглянулъ въ лицо смерти.

Раздался залпъ. Россель и Буржуа упали, Ферре остался на ногахъ.

Раздался второй залпъ,— онъ опустился.

Тогда одинъ изъ солдатъ подходитъ и

вкладываетъ ему въ ухо дуло своего шасно и подстрѣливаетъ ему голову.

Его убиваютъ въ три пріема.

Таковы были эти люди! Таковъ былъ народъ Коммуны!

Мы закончимъ грозными словами, сказанными Ферре предъ военнымъ совѣтомъ, которому поручено было зарѣзать его „на законномъ основаніи“.

Всякіе комментаріи ослабили бы ихъ.

Это, вмѣстѣ съ тѣмъ, — преречество о грядущемъ воскресеніи безсмертной идеи, которую тщетно старолись утопить въ крови ея защитниковъ:

Какъ членъ Коммуны, я во власти ея побѣдителей. Они хотятъ моей головы — пусть берутъ ее! Никогда я не попытаюсь спасти свою жизнь подлостью. Я жилъ — свободнымъ, такимъ и умру“.

„Прибавлю еще одно: счастье измѣнчиво. Будущему поручаю я заботу о моей памяти и мою месть“.

И будущее исполнитъ это завѣщаніе!

